

А. В. ЩЕПКИНА

БОЯРЕ

СТАРОДУБСКИЕ. НА

ЗАРЕ (СБОРНИК)

Россия державная

Александра Щепкина
**Бояре Стародубские.
На заре (сборник)**

«Public Domain»

1896, 1898

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Щепкина А. В.

Бояре Стародубские. На заре (сборник) / А. В. Щепкина —
«Public Domain», 1896, 1898 — (Россия державная)

ISBN 978-5-486-03740-5

Александра Владимировна Щепкина (1824–1917) – писательница, жена Н. М. Щепкина, сына известного русского актера М. С. Щепкина, сестра писателя, философа и литературного критика Н. В. Станкевича. Александра Владимировна была женщиной передовых взглядов, широко образованной. Занималась журналистикой, небезуспешно пробовала свои силы в литературном творчестве: ее перу принадлежит несколько исторических романов, а также серия детских рассказов для внеклассного чтения, написанных живым образным языком. Кроме того, она оставила интересные мемуары (в том числе «М. С. Щепкин в семье и на сцене»). В этом томе представлены два исторических произведения писательницы. В романе «Бояре Стародубские» изображены последние годы царствования второго царя из дома Романовых Алексея Михайловича, прозванного Тишайшим, и воцарение после его смерти сына Федора, а также важнейшие события того времени – Чигиринский поход и раскол русской церкви. Роман «На заре» посвящен эпохе императрицы Елизаветы Петровны, зарождению русского театра и той роли, которую сыграла эта артистически одаренная государыня в становлении культуры и науки страны.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03740-5

© Щепкина А. В., 1896, 1898

© Public Domain, 1896, 1898

Содержание

Бояре Стародубские	7
Глава I	7
Глава II	16
Глава III	21
Глава IV	35
Глава V	50
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Александра Владимировна Щепкина

Бояре Стародубские. На заре

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2011

© ООО «РИЦ Литература», 2011

Бояре Стародубские

Глава I

Близ Костромы, около города Галича, жила семья Талочановых. Прадед их был пожалован в бояре, имел свой дом в Москве; но сыну его не посчастливилось: он был уволен от управления одним из приказов, находившихся в Кремле, по жалобе на его хищничество, и удален с семьей в Кострому на житье в своей вотчине. Случилось это в начале царствования Алексея Михайловича; и с той поры Талочанов не выезжал уже из своей вотчины, где он скоро скончался, оставив двум сыновьям все свои имения и другие богатства. Один из сыновей его снова переселился в Москву, где поступил на службу думным дворянином; второй сын Кирилл Семенович поступил на ратную службу, раненый вернулся домой и поселился на житье близ Костромы, где жили все его родичи по жене, Ирине Полуектовне Савеловой. Долго, с большим трудом управлял он своим хозяйством, холопы его, хотя уже укрепленные на его земле, то и дело разбегались от него, уходили в самую рабочую пору, и Талочанову приходилось смаанивать к себе на работы и селить у себя посадских людей из городов. Из городских посадков люди бежали охотно в деревни, убегая от платежа тяжелых городских налогов и податей. По смерти Кирилла Семеновича имущество его перешло к старшему в роде Талочановых, и только небольшая часть досталась жене его, с небольшой, устроенной им усадьбой. Ирина Полуектовна осталась после него сиротствовать с двумя небольшими дочками. Именье было невелико, и приходилось ей, при небольшом числе крестьян, самой прикладывать всюду к делу свои белые, боярские руки. При ее скромных средствах не приходилось прятаться в тереме. Но старинный дом Талочановых, построенный дедом, давал семье просторное и удобное помещение. Он был двухэтажный, с теремами над верхним этажом. Внизу находились так называемые подклети для кладовых и кухонь; в верхнем помещении была большая палата и несколько комнат, отделенных сенями, а выше надстроено несколько опочивален, в которые вела крутая лестница. В одной из опочивален, самой обширной, жила сама Ирина Полуектовна. Вся комната в глубине ее, начиная от широкой изразцовой печи и вдоль по стене до окон, уставлена была высокими сундуками, покрытыми пестрыми, выцветшими от времени коврами. В сундуках этих хранилось все добро, когда-либо нажитое родом Талочановых и Савеловых и доставшееся на долю Ирины Полуектовны и дочерей ее. Судя по одним этим остаткам серебра и соболей, можно было подумать, что недаром удален был от управления Дворцовым приказом прадед их и что много добра сохранилось и из рода Савеловых. В сундуках боярыни Талочановой не было недостатка ни в парчовых и камчатных шубках (верхние домашние и выездные одежды), ни в золотных, с тяжелыми собольими обшивками шубах, или летниках, телогреях и других одеждах. Они вынимались из сундуков временами, надевались при выезде в церковь, на богомолье, и перешивались и переделывались для дочерей боярыни, когда они подросли. В ларцах сохранились жемчужные ожерелья, серьги с длинными подвесками и вышитые золотом головные повязки. Дочки были еще невелики годами: старшей было только четырнадцать лет, а меньшей всего одиннадцать.

Глядя на старшую дочь, задумывалась Ирина Полуектовна: красотой она не отличалась и на вид казалась уже взрослой. Ростом она была почти с родительницу; лицо ее было красновато, кое-где виднелись ямочки от оспы, и глаза, хотя и бойкие, но небольшие, смотрели словно из ямок, спрятавшись под темными бровями: на родителя была похожа мужественная старшая боярышня. Только крупные свежие губы напоминали мать; и доброта матери светилась на всем лице. Меньшая дочь уродилась в Савеловых. То была стройная девочка с большими, почти синими глазами, круглолицая и с нежным румянцем; особенно бросались в глаза

ее черные брови, выведенные дугой, и целая шапка кудрявых волос, черных, но тонких и мелко вьющихся.

Жила вся семья, конечно, не роскошно, трудами со своего хозяйства. Над всем надо было похлопотать хозяйке: посеять, добыть, продать или испечь, сварить, заготовить, чтобы не чувствовать недостатка в доме. Семья жила одиноко. Но обе боярышни не сидели в тереме, они всюду сопровождали мать по хозяйству и весь день проводили в саду, в огороде или в темном бору, собирая то грибы, то ягоды.

– Вы на свою свободу радуйтесь, пока ей пора да время! – говорила им растившая их мамушка, Василиса Игнатъевна, смолоду прижившаяся к дому бояр Талочановых. – У других, богатых бояр если бы вы родились, запирали бы вас наверху, в терему, как запирали вашу матушку!

– Особливо тебе, Степанида Кирилловна, плохо бы пришлось! Вишь, ты рано повзросла, за невесту бы слыла! Ну, боярышня Паша еще ребячлива, ее бы еще не унимали; пускай пока рзвится! – толковала Игнатъевна.

– Мамушка! Это ведь скучно – богатыми быть! – весело говорила Паша при таких замечаниях мамушки.

Степанида молчала. Она обдумывала всегда все слышанное; а от мамушки многое приходилось ей узнавать. Она запоминала ее рассказы о людях и усвоила себе ее понятия о жизни.

Но что же могла усвоить она? Какие понятия о жизни? Дело в том, что, несмотря на простоту Игнатъевны, из слов ее поняла Степанида всю женскую долю того времени и не считала себя свободной, несмотря на свой юный возраст. Бродя с сестрой по лесу, она предостерегала ее своею ранней мудростию.

– Что бросаешься из стороны в сторону, словно птица небесная? – останавливала она сестру.

– Так веселее, вдвое больше избегаешь и вымотришь! – отвечала она.

– Тебе не привыкать порхать! Ты не пташка лесная, свободная! Когда-нибудь поймают и свяжут!

– Кто посмеет? – горячо вскрикивала меньшая сестра.

– Мало ли старших над нами, все нам приказать могут, – говорила Степанида Кирилловна, спокойно наклоняясь сорвать грибок или ягоду.

– Скучно с тобой ходить, побегу я вперед! – восклицала сестра и исчезала, убегая по тропинке легкими ножками так быстро, что только завитки волос подпрыгивали у ней на голове.

Старшая сестра обыкновенно, наполнив свой кузовок, возвращалась домой и шепотом сообщала мамушке, что сестра опять убежала.

Паша между тем безостановочно бежала по лесу, выбегала на опушку и оглядывала всю окрестность, все протянувшиеся около нее кочковатые болота, с одиноко кое-где растущими по ним великанами – старыми соснами. Она глядела на блестящие широкие полосы озер и видела, как носились над ними цапли, широко развертывая свои серодымчатые крылья. Кругом было пустынно, далеко, на холмах за озерами, виднелись за оградами церкви и кресты монастыря. Весь этот простор и поражал Пашу своим объемом, и нравился ей. Она сама походила тут на малого зверька, с любопытством смотревшего из лесу; но она была смелее такого зверька. Она выходила на дорогу, которая вела к ближнему большому селу, и шла по ней дальше. Встречая крестьянских детей, она расспрашивала, откуда они, куда идут и где они жили? Расспрашивала о всех подробностях жизни: что они ели, что работают у них дома и так далее. Иногда встречалась ей повозка торговцев с товарами; и если тут ей предлагали сесть к ним на повозку, она, как кошка, вскарабкивалась на повозку и садилась рядом с купцами, не зная страха. Расспрашивая их, чем они торговали, куда везли товар, она доезжала с ними до ближнего села, забегала в избы и болтала со старухами и детьми и с молодницами, работавшими в огородах или в конопляниках. Так меньшая боярышня по-своему узнавала, как живут люди

на свете. Она смотрела на живую жизнь, меж тем как сестра ее слушала только рассказы о ней от мамушки. Старшую боярышню не влекло узнать живую жизнь, она и не порывалась к ней, ее не испугала бы мысль запереться в тереме, но меньшая почувствовала бы страшную муку, если б ее вдруг лишили свободы, к которой она так случайно привыкла, пока на нее смотрели как на ребенка и позволяли ей безвредные прогулки. После своих прогулок поздно прибегала она домой, спеша поспеть к послеобеденному полднику. Мамушка журила ее слегка за долгое отсутствие, а втайне любовалась и радовалась на ее раскрасневшееся личико и блестящие глаза.

Паша смущалась иногда тем, что домой приходилось возвращаться на виду соседей усадьбы, стоявшей против их дома на большом холме. То была усадьба бояр Хлоповых, огороженная, как крепость; а окна дома и теремов выходили прямо на долину, где стояла, окруженная лесами, усадьба Талочановых.

Богатые бояре Хлоповы считали себя выше всех небогатых соседей, а с Талочановыми и заться не хотели. Боярышни Хлоповы прятались у себя в теремах наверху, почти не выходили из дому и сидели за вышиванием или за прялками; а когда скука такого существования начинала одолевать их, то они выглядывали из окон своего терема и смотрели на усадьбу Талочановых, наблюдая за всем, что там делалось. Усадьба стояла перед их домом открытая, ничем не защищенная от взоров; они видели у подножия холма их сад, огородик и весь двор и всегда знали, чем заняты были обитатели усадьбы.

– Вон они, бояре-то Талочановы, точно нищие, сами гряды полют! – указывала другим одна из сестер Хлоповых, и остальные также льнули к окну и уж не отрываясь следили за семьей Талочановых, добровольно участвуя во всех их занятиях. В окнах постоянно виднелись их толстые лица. Ирина Полуектовна и дети ее не любили их за такой надзор над ними и за вмешательство в их жизнь и дела.

– Вон девчонка меньшая домой спешит.

– Набегалась, побиралась где-нибудь... – раздалось вдруг замечание Хлоповых из сада, когда, крадучись, Паша пробиралась из лесу в сад своей усадьбы. Паша не вынесла таких слов и, приподняв руку, погрозила им пальцем. Но когда разобиженные боярышни Хлоповы прислали сказать Ирине Полуектовне, что за нанесенную им обиду подадут они, Хлоповы, жалобу самому воеводе в Кострому, то Паша, видя тревогу Игнатьевны, испуг сестры и слезы, показавшиеся на глазах матери, сама расплакалась и обещала вперед никогда не затрагивать Хлоповых. Обещание Пашы было передано Хлоповым, и они успокоились, жалоба не была подана. Но Паша в этот вечер не отходила от матери, стараясь развлечь и утешить ее.

– Я не сержусь на тебя, Паша, а жалею о том, что не могу, по своему вдовству и сиротству, постоять за тебя и не дать себя в обиду! – высказалась сквозь слезы Ирина Полуектовна. – Я сама из рода боярского, постариннее Хлоповых!..

И пока мамушка Игнатьевна неповоротливо двигалась в своей крепко стеганной телогрее и готовила все на стол к ужину, непрерывно поправляя на голове повойник, Ирина Полуектовна вела длинную беседу с дочерьми о своем боярском роде. Сидя на одной из широких, чисто вытесанных лавок с узорными спинками, тянувшихся вдоль стен большой палаты, Ирина Полуектовна внушала своим дочерям о значении Савеловых.

– Я из рода Савеловых и втайне про то вам скажу: место занимал мой род в царских палатах повыше их, Хлоповых! И ежели Хлоповы норовили сесть повыше, то сейчас их и выводили вон. Случалось, что пойдет крупная меж бояр ссора и велит государь-батюшка обоим бояр из палат своих вывести; но все же боярин Савелов своего рода не ронял! И по служебным местам Савеловы считались выше Хлоповых. Вот ежели бы не мое сиротство, я бы им отпела, чтоб они и ныне про то не забывали! И Хлопову ничего не дали, никакого имущества, когда выдавали за него жену; а я за собой поместье принесла! И теперь управляет нашим поместьем дед ваш, а мой дядя, боярин Ларион Сергеевич Савелов! И по закону царскому взял за себя именье,

должен о всех нас, сиротах, заботиться и печься. И Ларион Сергеевич, дед-то ваш, обеих вас замуж выдаст и всяким добром наделит. И теперь он нас, сирот, не забывает и крестнице своей Паше гостинцы часто шлет.

– Не хлебом единым жив человек! – мрачно проговорила вдруг пятнадцатилетняя Степанида. – Не одно добро нужно нам; а не следует сестрице гнев держать на соседей! Это не по-Божью. В церковь ей надо бы чаще ходить да слово Божие слушать! Да к скромности девичьей привыкать ей пора настает!

Ирина Полуектовна, всегда глядевшая полузакрытыми глазами, вдруг широко раскрыла их и уставилась на дочку.

«Что это? Откуда набралась такой мудрости?» – думала боярыня, дивясь дочке; редко приходилось ей в то время слышать речей разумных от молодых боярышень.

Паша, чувствуя вину свою, краснея, потупилась; но через минуту уже лукаво подмигивала Игнатъевне на сестру Степаниду. Она радовалась, что хоть Игнатъевна не бранила ее. Когда, испросив благословенья родительницы, боярышни ушли в свою опочивальню, Степанида долго сидела еще, не укладываясь спать, и вполголоса, однообразно и мерно читала наставления сестре Паше.

– Да перестанешь ли, боярышня, Степанида Кирилловна, будет ли речам твоим конец? – вступилась за Пашу мамушка Игнатъевна. – За каждым человеком своя вина есть. Ведь и ты, Степанида Кирилловна, не святая, и про тебя родительница не знает, что ты странниц да черниц в кухне угощаешь!

– Разве то дурно, людей Божьих приютить? – возразила Степанида, несколько растерявшись от упрека мамушки.

– Долго ты с ними беседуешь, а о чем – того никому не рассказываешь! Разные черницы бывают, а московские черницы и смуты разносят, мало ли их из Москвы повывесили, жить там не позволили! С ними опасливей надо быть. Да отчего, Степанида Кирилловна, ты в постель не ложишься и молитвы при нас не творишь? – допрашивала мамушка. – Вишь, Паша помолилась и спит спокойно!

Молодая боярышня нехотя сбросила с головы повязку из широкой полосы синего бархата; темно-русые косы были тотчас расплетены, и, потушив затем свечу, она стала перед иконами. А мамушка при свете лампы взглядывала, стараясь заметить, как складывала боярышня персты свои на молитву.

Ирине Полуектовне меж тем не спалось в своей опочивальне; вынесенная обида разгорячила ее, и сердце билось беспокойно. Смутили ее также и речи Степаниды, и в голове ее поднимался снова вопрос, откуда набралась она таких речей? Ирина Полуектовна не догадывалась, что речи «о скромности девичьей» слышаны были от мамушки, а другие речи переняты были от черниц, бродивших в их краю.

Зато меньшая боярышня спала крепким сном, позабыв о Хлоповых. Ей снился лес и лесная тропинка, вьющаяся между зелеными кустами, и блеск озер между холмами на обширных болотах; и снился ей темно-серый с длинными ушами заяц, выбежавший на тропинку из кустов можжевельника. Боярышня во сне бежала за ним, а он поддразнивал ее, прыгая перед ней из стороны в сторону и сверкая белым брюшком. И самый храп с посвистом мамушки Игнатъевны и спавшего на лестнице сторожа хотя слышался ей сквозь сон, но превращался в снах ее в пение лесных птиц; он слышался ей будто свист дроздов по деревьям или вроде крика скворцов. Осенний холодок пробирался в терем, а Паше снилось, что лесной ветер веял ей в лицо.

Ночь меж тем проходила над холмистыми равнинами и светлыми озерами Костромы. А наутро начинался обычный порядок жизни в усадьбе Талочановых. Боярыня и боярышни выходили с утра из своих покоев смотреть на работы в поле, и боярышни беседовали с рабочими. С ними же была тут мамушка Игнатъевна, поспешавшая в поле своей дряхлой походкой. Тут же был и сторож Ларька, следовавший всегда за боярышнями, как сторожевая собака;

и сзади уже подгонял стадо пастух Лука, древний старец, седой как лунь. К старику Луке подходили обе боярышни и понемногу втягивали его своими расспросами в рассказы о старине. Лука, разламывая краюху хлеба себе на завтрак, садился на траву немного поодаль от боярышень; посыпая хлеб крупной солью из тряпочки, чавкая и щуря подслеповатые глаза, Лука без умолку что-нибудь рассказывал, припоминая прожитую жизнь, войны, пожары и бегство свое из Москвы от нашествия поляков. Боярышни уходили от него, унося в голове своей много тревожных картин из русской жизни. В памяти Луки составила́сь целая летопись за его долгую, почти столетнюю жизнь. Он соображал, сколько народу убито было в войне с поляками; высчитывал, по различным устным преданиям, сколько бояр казнили на Москве при Иоанне Васильевиче Грозном и сколько боярынь пострижено было в монастыри.

– И сам я служил в ратных людях при царе Михаиле Феодоровиче, которого тогда наш костромич спас от поляков, – так заканчивал он свои рассказы, горячо крестясь при этом воспоминании.

Завидуя, что все толпились вокруг Луки, слушая о старине, кучер Захар являлся разгонять народ, напоминая, что пора браться за работу. Особенно старался он отманить от него боярышень, пугая их злой собакой Луки. Служители Ирины Полуектовны все были преданы ей более или менее, почти все довольные ее милостивым обращением и всем, что она жаловала им. Не было примера, чтобы подал жалобу кто-нибудь из холопов Талочановых в те времена, когда повсеместно возникали дела по обжалованию бояр, на которых взводились клеветы в чародействе или грабительстве и утаиванье казенного имущества.

Если до сих пор быт Талочановых доставлял очень разнообразные зрелища соседям их Хлоповым, то в конце этой осени, когда ссоры их чуть было не довели до жалобы к воеводе, Хлоповы могли видеть из своего окна довольно новую и любопытную картину. По дороге, пролегавшей мимо их окон, проехал большой рыдван, запряженный четверней цугом; повозки и верховые сопровождали рыдван, направлявшийся к воротам усадьбы Ирины Полуектовны. Боярышни Хлоповы поспешно бросили свои вышиванья и прильнули к окнам. При внимательном наблюдении у них вырывались невольно и описания всего, что они видели.

– Рыдван, четверней!.. Что б это значило? – спрашивали они друг друга. – Вылез боярин, борода седая, верно, старый!..

– И другой боярин, тоже старый, – повторила другая сестра Хлоповых.

– А вот и молодой за ними вышел из рыдвана, – восклицала снова старшая сестра. – Ах! – вскрикнула она, закрываясь фатой, когда молодой боярин бросил взгляд в их сторону. Но отойти от окна казалось невозможным; все боярышни глядели на рыдван, прячась друг за друга. Они видели, что кучер Захар и сторож Ларька кланялись до земли, провожая бояр на крыльцо. Видели выбежавшую из дому Игнатьевну; с радостным лицом и глубокими поклонами она провожала гостей в сени, отворяла двери хором. Потом поднялась суета, беготня: Захар и Ларька бегали по двору, в погреб, таскали оттуда бутылки, бочонки и разную провизию. Хлоповы были сильно озадачены, они не могли разгадать, откуда эти гости и зачем они были здесь? Через несколько часов только прислуга их разузнала, что то был дядя боярыни Ирины Полуектовны и с ним были бояре, посещавшие Ипатьевский монастырь близ Костромы.

– А-а, остановились на отдых! – решили Хлоповы. – А может быть, что и жениха привезли Степаниде, только куда – стар! Правда, и она красотой не похвалится.

Но приехавшие бояре были не женихи, – то были гости, захавшие с богомолья. Старый боярин Савелов, дядя Ирины Полуектовны, отправлялся на богомолье; он тосковал о сыне, недавно поступившем на службу в ратные люди и ушедшем в поход на границу Польши; оттуда он должен был отправиться в Украину. Проводив на войну единственного сына, молодого боярина Бориса Савелова, старик загрустил и, чтобы рассеяться и утешиться, предпринял поездку по монастырям – молиться о спасении любимого сына от всех бед мирских. По дороге он посетил Ирину Полуектовну, семью которой, по обычаю того времени, он обязался блюсти

и поддерживать, приняв на себя все ее имущество как старший родственник. Такой обычай, дозволенный законом, не всегда был удобен «опекаемым», но Ирина Полуектовна, напротив, была довольна, и ей не приходилось жаловаться на своего опекуна.

Старый боярин и прежде навещал ее и внучек, но на этот раз приезд имел особую цель. Он скучал без сына и задумал пригласить Ирину Полуектовну переселиться к нему на житье, чтобы заботиться о нем, старике, и о малых детях сына, уехавшего на войну, мать которых скончалась еще задолго перед тем.

Сделка эта была бы по сердцу боярину, если бы только нравы дочек его племянницы не были к тому помехой; их-то желал Савелов узнать поближе. С боярином Савеловым отправлялись, по приглашению его, бояре Стародубские, самые сановитые бояре из всего воеводства Костромского, по старинному роду и обширным вотчинам. Стародубские считались даже в родстве с Савеловыми, но родство их было такое отдаленное, что ближе связывало их соседство и установившиеся дружеские отношения. При старом боярине Стародубском ехал в монастырь его меньшей сынишка, лет пятнадцати; его старший сын был давно убит в Литве.

Пригласив Стародубских заехать на отдых к Ирине Полуектовне, боярин Савелов смекал, что, быть может, не худо показать им еще не взрослых дочек Талочановой: кто знает, не пригодится ли это в будущем? Не прочь был взглянуть на них и боярин Стародубский, зная, что красив был исстари род Савеловых, к которому принадлежала Ирина Полуектовна.

Боярыня Талочанова радостно сбежала с крутой лестницы своих верхних покоев навстречу опекуну и дяде. Но, завидев, кроме него, посторонних посетителей, она снова взбежала наверх к себе прибрать себя понаряднее и одеть дочек в новые шубки и повязки и успела покрыть свой головной убор тонким белым убрусом. Прибравшись, она сошла в нижние покои поклониться гостям.

– Добро пожаловать, родимый дядюшка! Рады мы, свет наш, твоему приезду! Без тебя, отца нашего, мы, сироты, соскучились! – приветливо говорила Ирина Полуектовна, низко кланяясь боярину Савелову.

– Здорова, боярыня Ирина Полуектовна! Надеюсь, что Господь вас хранил и миловал; заехал в том своими очами увериться; вот пожаловал к тебе и старый знакомый, боярин Никита Петрович Стародубский.

– Много лет тому, как видела я боярина, – ответила Ирина Полуектовна, – а помню, что и на свадьбе своей его видела, и чашу с медом, и кубок с вином ему, по обычаю, подносила.

– Теперь не узнаешь меня, чай, состарился я, боярыня! А вот молодой сынишка мой, Алексей, – говорил Никита Петрович, подходя к ней с сыном.

– Похож он на тебя, Никита Петрович; точно тебя молодым вижу! Твои кудри русые и глаза орлиные, – говорила Ирина Полуектовна, рассматривая Алексея.

Молодой боярин, одетый в объаренную ферезь¹ сверх легкого кафтана летника и в парчовую шапочку, обшитую меховым околышем (наряд, принятый в старину и в зимнее и в летнее время), стоял пред Талочановой, краснея и опустив свои бойкие очи.

– Здорово расти! – продолжала приветствовать его боярыня. – Моя хвала не во вред тебе, а на здоровье! Чем угостить тебя прикажешь, дядюшка Ларион Сергеевич, и вас, дорогие гости! Час, кажется, обеденный недалек...

– Накорми нас, боярыня, чем Бог послал, а после стола позови дочек, не стеснясь: пускай поднесут они нам меду твоего варения домашнего; потом позволь отдохнуть у тебя; вечером поговорим с тобой о деле, и отпусти нас, родная, в путь-дорогу к своим домам.

Ирина Полуектовна спешила выполнить все, как приказал боярин Савелов. В большой палате накрыли стол для обеда, украсив его всем, что было дорогого и блестящего в доме, сохранившегося в запасе, несмотря на изменившееся положение в делах и имуществе Ирины

¹ Ферезь – выходная одежда.

Полуектовны. Бояре сели за стол одни, – хозяйка хлопотала и распоряжалась всем издали. Горячие кушанья, суп с потрохами и другие похлебки сменились холодным мясом и рыбою, затем шли пироги и жареная живность, потом – оладьи с медом, варенье различное и другие сласти и печенья. Предки наши строго соблюдали посты. Царь Алексей Михайлович постился с такою строгостью, что питался одною просфорой или позволял себе кушать квас с огурцами в большие посты; но в праздники или ради угощения гостей подавались разнообразные и обильные блюда, и бояре долго сиживали за обедами, роскошь которых не уступала и обедам нашего времени.

После стола боярин Савелов просил Ирину Полуектовну вывести к ним дочек; молодые боярышни, привыкшие встречаться с посторонними лицами на прогулках, не стесняясь сошли вниз из своей светлицы; их манило любопытство посмотреть на чужого боярина и повидаться с дедом, который всегда привозил им подарки и лакомства; боярышень стесняли немного только их праздничные одежды, которые заставили надеть для выхода к гостям; особенно не нравился наряд Паше, тем более что, спешно переделанный, он был ей длинен и спускался почти на четверть на пол: подметать или укоротить не успели; то был летник из голубой шелковой материи, камки; он был надет сверх алой шелковой сорочки, подвязанной поясом, как всегда носили тогда; длинные рукава летника были открытые и висели до самого подола; на голове у нее была голубая повязка, шитая жемчугом. Паша надела все это неохотно и постоянно придерживала длинную одежду свою, собирая ее в складки под рукой и прижимая к себе локтем. На Степаниде был шелковый темно-малиновый летник и на голове повязка такого же цвета, шитая золотом; обе боярышни были обуты в чеботы, как назывались тогда высокие сафьяновые сапожки, строченные разноцветными шелками и золотом. Упрямые волосы Паши выбивались из-под повязки, спускались на шею и кудрями подымались на всей голове; в руках у обеих сестер были тонкие белые ширинки, богато вышитые шелками.

Дед улыбнулся внучкам. Такая же снисходительная улыбка пошевелила седые усы и бороду боярина Стародубского. Молодой боярин Алексей застенчиво глядел на вошедших боярышень, оправляя на себе ферезь и шапочку на голове.

Глаза Паши остановились на молодом боярине с такой нескрываемой веселостью, что, невольно потупившись, он с неудовольствием перенес потом свой орлиный взгляд в сторону. В молодом Алексее, кроме красоты, унаследованной от отца, проявлялась уже их общая родовая черта: не смиряться и чувствовать себя свободным.

После глубокого поклона боярышень, хорошо заученного Степанидой от мамушки, но у Паши выходявшего слишком быстрым и забавным, – обе они взяли приготовленные подносы с кубками меду и поднесли их гостям. Отпив немного из кубка, дед поцеловал обеих боярышень, старый боярин Стародубский поблагодарил Степаниду ласковым поклоном, а Пашу также поцеловал, считая ее ребенком. Паша подошла к молодому боярину и, с улыбкой и любопытством в бойких глазках, стояла перед ним, ожидая, что он возьмет кубок, но Алексей отказался от меда.

– Пей, боярин, не бойся! – проговорила вдруг Паша, очевидно желая угостить его вкусным медом.

Старики глядели на эту сцену улыбаясь. Алексей смеялся, потупившись.

– Он боится, что я его поцелую, – бойко проговорила вдруг Паша, – а я его не стану целовать! Выпей же, боярин!

– Постой, сестра! – окликнула ее Степанида. – Ты не кланяешься, так не делают! Ты вежливенько проси.

И, кланяясь в пояс молодому боярину, она сама поднесла ему кубок с медом, приговаривая:

– Выкушай, боярин! Нам на утеху, себе на здоровье!

Ее серьезный вид и скромные речи ободрили Алексея; он решился взять кубок и даже отпил из него до половины.

– Пей все, себе на утеху! – понукала его Паша, стараясь подражать сестре и отвесив такой же низкий поклон.

Старики, поглядывая на нее, шептались между собой.

– Вот спасибо, боярышни-внучки, – смеясь, говорил дед Ларион Сергеевич, – спасибо за вашу ласку!

– И вам, бояре, спасибо за вашу ласку и милость! – ответила боярышня Степанида серьезно и степенно, опустив длинные ресницы, наполовину скрывшие ее черные глаза, всегда светившиеся мрачным блеском и задумчивые не по летам. Поставив поднос на столе и степенно продвигаясь по комнате, Степанида присела на лавке подле Ирины Полуектовны.

– Хорошо ли живется вам, боярышни? – спросил дед ее Ларион Сергеевич у Степаниды.

– Благодарим Бога, дедушка Ларион Сергеевич, и молим Его за твое здоровье! – отвечала Степанида, наклонив голову, осторожно выговаривая каждое слово, видимо стараясь не сбиться в речах и глядя куда-то в сторону, а не в лицо гостям.

– Чем же вы занимаетесь и чем забавляетесь, боярышни-внучки? – спрашивал дед, всматриваясь в лицо Степаниды.

Паша меж тем едва успела справиться с своею длинной одеждой и, не зная, куда девать свой кубок, подошла к сестре во время вопроса деда.

– Мы в саду работаем и по лесу бегаем. Я весь лес обходила и все тропинки знаю! – ответила Паша за сестру, с живым интересом передавая деду о том, что составляло всю радость ее жизни.

Дед слушал ее с усмешкой; а Степанида зарумянилась и дергала сестру за рукав, испуганная ее чистосердечной болтливостью.

– Мы стараемся помогать во всем матушке и в лес с ней ходим за грибами... – проговорила она, поправляя слова сестры.

– То хорошо, боярышни, что вы матушку слушаетесь... – похвалил дед, выслушав Степаниду.

– Мы ей покорны, как Бог велел к родителям быть покорными. Слово Божие исполнять надо! – продолжала речь свою Степанида.

Ирина Полуектовна уставилась на нее глазами, снова удивляясь ей. Как-то чудны были ей эти речи, такие строгие и произносимые ребяческим голосом Степаниды. Деду они нравились. «Речиста, – думал он, – но говорит умно».

– А с сестрою в ладу живете? – спросил он снова старшую боярышню.

– Отчего же нам не ладить? Она еще ребячлива; да если и спалит порою, – с нее нельзя взыскивать, – отвечала Степанида, снисходительно улыбаясь. – И каждому человеку Бог прощать велит! – прибавила она уже серьезно, глядя в глаза деду.

– Так ты и со всеми в мире живешь, Степанида Кирилловна? – спрашивал дед.

– Где мир – там и Господне благословение, – ответила девушка, задумчиво глядя перед собой.

– Ты, видно, их учишь слову Божию? – сказал дед, обратившись к Ирине Полуектовне и, видимо, довольный.

– В церкви они часто бывают; и Степанида крепко запоминает, что там слышит, – смущаясь, отвечала Ирина Полуектовна, сама не понимая, откуда развилась в дочери такая набожность.

Но мамушка Игнатьевна, стоявшая у входной двери, еще более вслушиваясь в разговор, думала: «Как бы чего и лишнего не сказала наша Степанида Кирилловна! Не прочувствовал бы дедушка, откуда в ней *она*».

– Что же ты задумался, Алеша? – обратился к сыну Стародубский. – Вынимай гостинцы дедушкины, наделяй боярышень.

Молодой боярин вынул из дорожных сумок круглые лубочные коробки и ящики с пряниками, леденцами и сушеными фруктами, закупленными в Макарьево.

Он открыл большую коробку с леденцами и пряниками, подошел было наделять боярышень, но Паша, шаловливо приподняв вдруг свои черные брови, с чуть заметной улыбкой подтолкнула вдруг всю коробку снизу и вышибла ее из рук неловкого мальчика. Он на минуту смутился, но тут же рассмеялся и бросился подбирать рассыпавшиеся на полу пряники; вместе с ним подбирали обе боярышни, и на помощь им сунулась и мамушка Игнатъевна; меж тем как старые бояре смеялись неловкости Алексея, не подозревая, что это были проказы Паши. Кроме сластей, боярин Савелов привез внукам материй на шубки и хорошие четки янтарные из монастыря. Оделив внучек, он любовался их радостью и еще раз поцеловал их на прощанье и допустил их к руке.

– Уходите теперь, Господь да хранит вас! А нам позволь, Ирина Полуектовна, отдохнуть, и пора в путь-дорогу.

Ирина Полуектовна указала на комнату, где было все приготовлено для отдыха посетителей. На широких лавках разложены были пуховики с большим числом подушек в изголовьях, все было наряжено, – как выражались тогда, – камчатными наволоками и шелковыми штофными одеялами. Много вещей пришлось на это время вынуть из заветных сундуков, где Ирина Полуектовна хранила много ценных вещей, несмотря на свое стесненное положение и безденежье, чтобы передать их своим дочкам со временем. Перед отъездом гостей, после того как стороживший их пробуждение Ларька подал им кувшины с брагой смочить пересохшее во время сна горло, – боярин Ларион Сергеевич Савелов потребовал к себе племянницу Ирину Полуектовну и долго толковал с ней. Она сидела несколько поодаль от дяди, выслушивая его речи, совершенно растерянная, и не знала – горевать ли ей или радоваться. Ларион Сергеевич, дед и опекун детей ее, требовал и увещевал ее переехать к нему на житье на Ветлугу в его вотчину Городки, с семьей и слугами, которых найдет для себя необходимым взять с собой.

Отказать дяде в его просьбе было невозможно, по закону он мог распорядиться как хотел, а он только слезно просил Ирину Полуектовну не оставить его в одиночестве и принять под надзор свой внуков его, детей уехавшего на войну сына, – и Ирина Полуектовна на все согласилась!

Проводив бояр, долго стояла она на крыльце в раздумье и собиралась с мыслями, как сообщить ей все дочерям и Игнатъевне.

Обе дочери были меж тем в лесу, не ожидая, что посетители пустятся в дорогу засветло и нагонят их на лесной, узкой дороге. Боярышня Степанида, заметив их рыдван, поспешила сойти с тропинки и укрылась в чаще леса, а Паша осталась на месте и радовалась, что пришлось увидеть весь поезд бояр, лошадей и сопровождавших их верховых. Стоя в стороне от дороги, она еще раз поклонилась дедушке и, смеясь, кивнула кудрявой головкой и боярину Алексею, сидевшему в повозке, ехавшей за рыдваном. Ее большие, светившиеся глаза точно дразнили Алексея; он вспомнил про ее проказы с коробкой пряников.

Вернувшись домой, Паша весело рассказывала вечером матери о своей встрече с боярами в лесу. Но в этот вечер ей пришлось выслушать много замечаний о том, что не умела она вести себя перед гостями, как того требовал обычай; много выговаривали ей сестра и мать и даже старая мамушка. Однако же, засыпая, она уже позабыла их наставления, – и снова снился ей сосновый темный бор, где она двигалась привольно, где кругом все так радовало ее и никто не распекал за шалости. А наутро следующего дня Паше пришлось услышать о переезде всей их семьи на Ветлугу!

Глава II

Тяжко было боярыне Талочановой переселяться из своего старого гнезда, свитого в молодое еще время; но еще тоскливее было это расставанье для обеих дочерей ее. Паше тяжело было проститься с сосновым бором, где ей знакома была каждая тропинка и каждая молодая елочка! И боялась она, что из хором деда несвободно будет убежать на прогулки. Степанида приуныла и задумывалась еще глубже Паши. Она расставалась, и может быть навсегда, с друзьями, которых нашла себе в окрестностях Костромы. Черницы, бродившие в их соседстве, быть может, не появятся на Ветлуге, у деда! А встреча с ними была одной отрадой жизни. Заходя к ней, черницы толковали ей слово Божие. Они открыли ей неведомый мир, светлый и лучезарный; они научили ее молиться и стремиться к Царствию Небесному. От них выучилась она читать и сама уже могла разбирать понемногу в святых книгах, которые они дарили ей. Ирина Полуектовна никогда не отказывалась принять странниц и давала им на время приют для отдыха, — они гостили у нее по целым неделям; а ей некогда было замечать, сколько времени проводила с ними боярышня Степанида за беседами в саду или в кухне. Боярышня угощала их и слушала их, пока родительница была на гумне, где у нее молотили или веяли. И могла ли знать Ирина Полуектовна, что под видом монахинь ходили к ней черницы, не принадлежавшие ни к какому монастырю, но добровольно облекшиеся в черные одежды и присоединившиеся к почитателям старых церковных книг, неисправленных или сохранившихся в древних рукописях. Черницы такого рода покидали Москву, чтобы скрыться от преследований их только зародившейся секты; они пускались странствовать по городам и монастырям и разносили учение о верности старым книгам и о необходимом долге креститься двуперстным знаменем. В окрестностях Костромы странствовала одна из таких черниц, сестра Нефилла. Она не была монахиней и не жила ни в одном монастыре. Пострижение Нефиллы произошло у нее на дому, как это часто делалось в то время; пострижение совершалось каким-нибудь попом, отступившим от православия, то есть от новых порядков в служении по исправленным книгам, или иным лицом, приобретшим славу в народе и расколе. Пострижение Нефиллы совершилось в доме матери ее, вдовы ратного человека, убитого под Смоленском во время похода в Литву царя Алексея Михайловича в 1655 году. Царь вернулся из похода счастливо и со славой, отняв старинные русские города из рук поляков; сверх того, он еще присоединил к Руси Витебск, Полоцк и Ковно, а к титулу «русского царя» прибавился тогда титул «князя литовского». Царь отнесся внимательно и милостиво к семействам павших на войне ратных людей, и им приказано было выдавать кормы и деньги. Такая милость царя обеспечивала и мать Нефиллы; Нефилла могла оставить ее одну. Она покинула семью, постриглась, облеклась в черные, *смирные* одежды, присоединясь к кружку раскольников, упрямо ратовавших против исправленных церковных книг. Книги эти поправлены были монахами, призванными из Киева и из Греции.

Мысль, что старые книги поправлены были неверно, зародилась сначала в кругу духовенства, но поднявшиеся распри быстро проникли в народ, взволновали его и способствовали образованию секты раскольников. Раскол поддерживался и всем недовольным и притесненным людом, готовым пристать ко всякой смуте со своими особыми целями и мутить народ ради своих выгод и облегчения. К расколу приставало особенно много женщин. Нефилла дала зарок посвятить свою жизнь на спасение душ христианских от власти преисподней и от когтей дьявола — и тем надеялась спасти и свою собственную душу. Она старалась указывать всем путь ко спасению; набожно любила она поучать совсем молодых девочек, предупреждая их от житейских бед и соблазна. И боярышня Степанида испытывала на себе всю силу ее учения. Жизнь уже представлялась ей и мрачной, и полной опасностей, на которые указала ей Нефилла. Жизнь представилась ей полной притеснений для женщины, и она убедилась уже в

своем, таком юном, возрасте, что спасению и свободе женщины способствовали только монастырь и монашеская одежда.

Предвидя скорый отъезд и разлуку, Степанида искала случая повидаться с Нефиллой. Устроить это свидание было возможно; Нефилла была вхожа в семью приходского священника, она успела даже обратиться к расколу одну из меньших дочерей этой семьи, и через эту вновь посвященную ученицу можно было общаться с Нефиллой. В распоряжении боярышни Степаниды был также бойкий конюх Захар, давно сносившийся с раскольниками, проникшими в их сторону. Захар исстари принадлежал к посадским людям города Костромы, но, убегая от тяжелых податей, он, по обычаю того времени, заложился к боярину Талочанову, то есть считался должником и обязан был находиться в его услужении; и двенадцать лет уже Захар считался должником бояр Талочановых, отбывающим свои долги работой и службой. Тем не менее положение его не могло считаться верным. Его всегда могли вытребовать и вновь поселить на городской, посадской земле и подвергнуть правезам, принуждая выплачивать подати. Свободных, гулящих людей старались тогда приписывать к городу, селить на места для более удобного собирания податей, которые все увеличивались во времена непрерывных войн и шли на содержание ратных людей. Учение раскольников и их сборища показались Захару путем ко спасению в случае опасности. С чутьем зверька, окруженного преследующей его стаей гончих собак, он отыскал себе теперь лазейку на случай опасности. Этот самый кучер Захар давно смекал, о чем вела беседа Нефиллы с боярышней Степанидой, а Нефилла, со своей стороны, давно уже поручила Захару беречь и наблюдать за боярышней. «Из наших будет», – сказала она ему. Это новое обстоятельство усилило преданность Захара к семье Талочановых.

«И из боярских детей святые выходят, когда они нашего дела держатся», – думал он.

И по просьбе боярышни Степаниды он устроил свидание ее с Нефиллой, всегда зная, где в какое время находилась черница. Захар отыскал ее на этот раз в ближнем монастыре, куда ее принимали на отдых, не подозревая, с какими целями она странствовала, считая ее собирательницей на церкви Божии. Встретившись в церкви с ученицей Нефиллы, дочкой священника, Степанида пригласила к себе уже прибывшую к ним Нефиллу. Ирина Полуектовна радушно приняла ее, предлагая погостить у них до их отъезда; так устроилось последнее и знаменательное свидание Нефиллы с боярышней Талочановой. Число учениц Нефиллы быстро умножалось; черница эта посещала монастыри и храмы; старые люди не могли заподозрить ее в расколе и допускали в свои дома. Она же разносила между тем рукописные увещания, тайно читая их крестьянам и молодым боярышням. У ней были списки бесед раскольников с московским духовенством и их доказательства в защиту двуперстности крестного знамения. У ней были выписки из писем, рассылаемых раскольниками, в которых упоминалось о ревнителе их, протопопе Аввакуме, и его деяниях.

Она читала теперь наедине, сидя в комнатке подле кухни, жадно слушавшей ее ученице, эти отрывки из писем и бесед раскольников. Нефилла грустно передавала ей о всех страданиях, вытерпанных бывшим недалеко от них Юрьевским протопопом Аввакумом, ныне уже сосланным в Тобольск, но сохранившим дух свой не сокрушенным всеми лишениями и в холод и в голод! Вслед за тем Нефилла передавала о терпении и твердости жены его, переносившей с ним все эти тяжкие странствия и бедность и старавшейся поддерживать бодрость Аввакума. Она рассказывала, как в Москве, куда вызывали Аввакума, из сострадания к нему и дивясь его усердию к проповеди слова Божия, сам царь жаловал его своей милостью; а через некоторое время он снова начинал проповедовать о верности старым книгам, не мог он совладать с собой и умалчивать о том, как сам верил.

Аввакума еще помнили в Костроме и ее окрестностях. Он был уроженец соседнего воеводства Нижегородского, был поставлен священником в одном селе и много терпел от местных властей.

– Потом, – продолжала Нефилла, – знали все Аввакума, когда его поставили протопопом в Юрьевце-Поволжском, после челобитья его в Москве знатным боярам; те вступились за него, и знатное духовенство отнеслось к нему ласково.

– Дивились все его силе при всех его невзгодах и его жизнью богоподражательному, – говорила Нефилла. – А теперь богобоязненный ревнитель наш снова живет в ссылке! И боярыни, ученицы его, боярыня Морозова и сестра ее, что княгиня Урусова прозывается, не могли спасти его! Да и сами обе боярыни уверовали в его учение и пострадали за правду.

Много узнала Степанида из своей последней встречи с черницей. Внушала она ей:

– Скрывайся пока, боярышня! Только твердо держись двуперстного креста и старых книг втайне да оказывай всякую помощь странникам нашим и странникам через раба Божия Захара, – просила Нефилла, прощаясь и пряча свои рукописи в особый мешочек, висевший у нее на шее.

Боярышня Паша помогала между тем Ирине Полуектовне переносить и укладывать вещи, которые должны были остаться на хранении в подвалах под надзором сторожа Лариона.

Боярышни Хлоповы не отходили от окон. Заслышав, что Талочановы переезжают к деду, они в последние дни старались насладиться зрелищем укладывания их вещей, предчувствуя, что скоро лишатся любимого развлечения с отъездом семьи Ирины Полуектовны.

– Глянь-ка, Игнатъевна! Вишь, прильнули к окнам плотно как! – указывала на них Паша мамушке. – Даже носы приплюснули, а лбом как бы стекло не продавили. . .

– Плюнь ты на них, родная! – крикнула на Пашу мамушка Игнатъевна.

Паша уже отставила было губки, чтобы плюнуть, но Игнатъевна круто повернула ее за руку, говоря: «Делай свое дело!» – и гневная выходка Паши была отстранена вовремя. Опомившись, Паша была сама довольна, – досталось бы ей от сестры!

– Отпусти, мамушка, в бор побегать, – просила Паша, – после опять приду помогать, а пока ты кликни сестру, Степаниду; ее подруга Черная ушла, вот видишь, пошла по дороге к церкви. . .

– Муха черная! – восклицала, глядя на дорогу, Игнатъевна. – Жужжит, жужжит, и не ведаешь, про что она там!.. Право, жужелица. Ты с ней не знайся, Паша!

– Ах, она мне уж прискучила! Все учила двумя перстами креститься, а я ей говорю: «За это далеко сошлют, пожалуй! Ты меня не учи; и поп наш, батюшка, не приказывал так персты складывать. Это, говорит, одна глупость у народа, не разумеют ничего!..» Нефилла отвернулась, а сестра заплакала, я и ушла от них.

Весело прощбетала все это Паша, не понимая борьбы, глухо начинавшей клокотать в окрестности да и в самой семье ее.

– Складно ты ей ответила, гладко! Право, хорошо! И как у тебя на ту пору нашлось разума! – радовалась Игнатъевна.

– Я помню, что батюшка нам сказывает, сестра сама велела запоминать мне все о слове Божиим. – И Паша порхнула из калитки двора на дорогу в бор, почти столкнувшись с Захаром. Захар стоял подле калитки, мрачно уставив глаза на Игнатъевну. Он подошел к ней теперь и, пристально глядя на нее прищуренными глазами, недвижно стал перед ней в положении борца.

– А ты почем знаешь, что наш поп-батюшка лучше научит против матери Нефиллы? – спросил наконец Захар, наступая на Игнатъевну. Но Игнатъевна не сробела и, твердо уставив на него глаза свои, заговорила:

– Слово Божие одно, от века! А кто его надвое толкует, тот сам повихнулся, значит! Вот что поп-то нам говорит: «Спаситель всех миловал и язычников спасал, а они еще и вовсе не клали на себя крестного знамения! И все народы, говорит, внидут в Царствие Божие, лишь бы по Божию слову жили! Вот как он учит!»

– Эх, мать! Хорошо тебе за боярами живется, так ты так и говоришь, – сказал Захар с горьким укором. – Прикрепили бы тебя к посадской земле да поприжали бы, так ты бы не так

пела! Ты бы другое скоро уразумела. Народу на этом свете нелегко живется, так и прислушивается он к тем, кто иначе учит, разумея, что с этого впереди быть может, а ты, нас не жалеючи, на нас же нападаешь!

– Учат вас только на вашу же гибель! Лучше это разве, что народ начал прятаться в лесах, по кельям, и сам себя сжигает, погибает смертью лютой? А заберут, отыщут, так сошлют туда, где и солнце не светит! Ты не подводи нашу боярышню, все заявлю Лариону Сергеевичу, боярину нашему, если что примечу!

После таких слов Игнатьевны Захар мгновенно исчез из огорода, где они стояли, словно его и не было; и к дому не подходил в этот день, остерегаясь встречаться с боярышнями.

«Пусть мамушка позабудет обо мне», – смекал он.

Через неделю обоз с имуществом семьи Ирины Полуектовны двинулся под управлением Захара. Боярыня брала его с собой на Ветлугу, как верного слугу; мамушка молчала.

«Он там смиренней будет», – думала она.

Время стояло светлое, осеннее. В половине октября выпал снежок; ледком затягивались все светлые озера, а в бору на ветках можжевельника или сохранившей еще свои красные кисти рябины, притаившись, вместе с ветками покачивались снегири. Паша, выбежавшая в бор, подкрадывалась ближе взглянуть на красную грудь и умные глаза красивой птицы. Было свежо. Паша покрывалась сверх повязки алым шелковым платочком и надевала на себя телогрею, обложенную мехом. На щеках ее выступал от морозного ветра свежий румянец; ступая по мерзлой земле, она сжимала на ногах пальцы от холода. Снегу было немного, но он висел белыми хлопьями на высоких зеленых елях, и в кучи намел его ветер под кустами. Тропинка также была слегка посыпана снегом; сквозь белые хлопья его пробивалась зелень брусники и кусты мха, по которым мягко ступали ножки Паши. Она шла домой, любуясь всем и словно прощаясь. Солнце, спускавшееся к закату, осветило снег и зелень мягким красноватым светом, и все казалось приветнее в лучах его, проникнувших сквозь стволы деревьев и на тропинку. Сердце у Паши сжалось на прощанье.

Отслужив напутственный молебен, простясь со слезами со всеми служителями и оделив каждого по заслугам, боярыня Талочанова выехала из своего поместья на Ветлугу в одной колымаге, поместившись в ней с дочерьми и мамушкой. Путь был неблизкий; колымагу боярыни сопровождали повозки с ее вещами и провизией, с запасами пирогов и живности, без которых дорожные люди могли бы голодать, не имея возможности достать пищи в крестьянских избах, а других приютов не существовало для путешественников. Дня через два боярыня и боярышни счастливо достигли Горок, и старый боярин Савелов, просиявший весь при виде внучек и племянницы, встретил их, проводил в свой дом и тотчас велел провести наверх, в приготовленные комнаты детей своего сына, уехавшего в поход. Детей, нарядно прибранных, привела бойкая женщина годов около тридцати, сухощавая и подвижная, с небольшими серыми глазками, бегающими по всем сторонам, словно боясь проглядеть кого. Она кланялась, изгибалась, будто не могла смиренно стоять на месте и, наклоняясь, заглядывала в лица приезжих.

– И, Феклуша, здравствуй! – сказала ей Ирина Полуектовна, подходя к детям.

Дети, мальчик и девочка, упрямо прижимались к сарафану Феклуши, напрасно увещавшей их подойти к тетке.

– Подойди, Вася, подойди, Луша, тетка-то привезла вам гостинцев!

Ирина Полуектовна спешила развязать свои холщовые и небольшие камчатные дорожные мешки и вынуть из них золоченые пряники, инжир и другие сласти, получаемые тогда по всей Руси с торгового в Макарьеве, около Нижнего. На торговлю этот направлялись все товары и лакомства с Дальнего Востока, Сибири и из городов России, пока позднее весь торговый не перешел в самый Нижний и стал известен под именем Нижегородской ярмарки.

Увидав пряники, дети живо протянули свои ручонки к приезжим. Паша схватила на руки девочку и расцеловала ее.

– И меня подыми! – просил Вася, доверчиво глядя в глаза ее, сиявшие лаской, и любуясь на красные щечки Паши.

Степанида степенно стояла подле старого боярина, сложив скромно руки и потупившись; она расспрашивала его о здоровье. Она просила наставить их на путь: «Чтобы знали они, что должно им делать ему в угоду, где поместиться и где свои вещи расставить».

– Все вам покажет Феклуша, – ласково сказал дед, довольный кротким и покорным обращением Степаниды, которую допустил к руке своей, а Пашу поцеловал в обе щеки при встрече.

Феклуша здоровалась с боярышнями, почти земно кланялась боярыне Ирине Полуектовне за то, что она признала ее, Феклушу, не забыла.

– А я вам заслужу, – щебетала она, – провожая их наверх, отворяя дверь и указывая на крутую лестницу, ведущую в покои терема. Остаток дня прошел в расстановке и уборке привезенных вещей. Захар помогал во всем как человек, изучивший новую местность, усадьбу Лариона Сергеевича, в которой прожил уже более трех дней. Вечером пришел наверх старый боярин побеседовать с семьей. Он расспрашивал, на кого Ирина Полуектовна оставила усадьбу, советовал и указывал, как им расположить все у себя, чтоб им было удобно, но особенно поручал он им беречь его маленьких внучат, упрашивая Ирину Полуектовну взять на себя этих детей, уже полусирот.

Боярин ушел, наконец, обещая посещать их иногда и приходить посмотреть на внучек и побеседовать, согласно обычаю, допускавшему в терем и мужские лица, принадлежавшие к семье, особенно старших родственников.

Ночью утомившиеся путешествием приезжие боярыня и боярышни – все крепко уснули на новых местах. Дети уснули, сжимая в руках золоченые пряники; Паше снова снился темный бор их старой усадьбы, освещенный солнцем, со снегом и снегирями; боярышня Степанида спала с грустно опущенной на руку головой, и ей снился старец Аввакум, идущий пешком с женою и детьми по скользкой дороге пустынных и замерзших болот. И слышался ей его голос: «А ты присмотри за детьми-сиротами!» – и голос этот напоминал голос деда Лариона Сергеевича. Игнатъевна спала необыкновенно сладко, утешенная ласковым приемом боярина и уверившись, что боярышням ее предстоит здесь легкая жизнь под его покровом. И во сне снились ей готовые кошель с золотом, открыто расставленные на разных поставцах² по стенам во всех нижних покоях Лариона Сергеевича.

С рассветом утра исчезли блаженные сны, и настала новая и непривычная жизнь. Боярыне Ирине Полуектовне и дочерям ее пришлось просидеть весь день наверху в теремах и без занятий, к которым они привыкли у себя дома. В хозяйство Ирина Полуектовна еще не вступала, хлопотать ни о чем не приходилось. Степаниде совестно было читать свои книги на глазах у незнакомой ей девушки Феклуши; она опасалась ее расспросов и просила у нее: «Нет ли чего пошить для детей?»

– Сшей мне мяч! – просил Вася.

– Я сошью тебе мяч! – вызвалась Паша, обрадованная, что нашлось занятие. В играх с детьми она нашла себе развлечение, они строили себе дома, гуляли по комнате, стена которой изрисована была деревьями и травами, дети же считали это садом за неимением другого сада! Паша кормила детей, сказывала им сказки, но через несколько дней и это занятие недостаточно развлекало ее. Ей недоставало воздуха, свежего воздуха, которым так легко дышалось, ей наскучило оставаться в четырех стенах; она подходила к двери и смотрела вниз по лестнице с желанием сбежать с нее.

² Поставцами назывались прибитые к стенам резные, из дерева полочки, шкафчики различного вида и форм.

Глава III

Бродя от скуки по всем углам терема, Паша натолкнулась на маленькую дверку, ведущую на холодный чердак; она отворила ее и из любопытства заглянула туда, и на нее повеяло холодным ветром; Паша жадно потянула в себя свежую струю воздуха. Вдали блеснул ей свет из окна на крыше, она быстро пробралась к нему по бревнам и балкам темного чердака, и как обрадовалась она, как забила в ладоши! Из небольшого окна, прорубленного в крыше и не заделанного ни решеткой, ни слюдой, она увидела далекое открытое поле, за ним вправо от дома темный лес, а за лесом церковь, от которой доносился мягкий звон колокола. Недалеко от леса блестела не замерзшая еще синяя полоса воды; широкая река, повернув от леса на запад, уходила вдаль по ровному лугу. Паша загляделась вдаль и, опустив голову на грудь, сидела неподвижно на одной из балок чердака, пока не продрогла вся, проникнутая холодным воздухом в своей легкой одежде, и не сбежала вниз погреться.

С этих пор сидение на чердаке, на вышке, заменяло ей ее прежние прогулки.

«А как красиво здесь будет весной! – думала она. – А уж я проберусь туда вдаль, к реке! Когда-нибудь после обедни можно будет укрыться в лес из церкви...» И часто, сидя на чердаке, она обзревала поле своих будущих действий и обдумывала план побега. Только Захар, проходя по двору, видел ее иногда на вышке; он усмехался ей, точно понимал ее бескрылые порывы.

– Захар! – окликнула она его вполголоса. – Какая там, далеко, стоит церковь?

– То монастырь! – ответил Захар и радостно осклабился, смекая, что меньшая боярышня скажет сестре о соседстве монастыря.

На другой же день обе сестры уже вместе глядели из окна чердака на далекие церкви и вертевшегося около дома Захара, просили узнать, какой это был монастырь, не женский ли! И все расспросить о нем.

– Это можно, в воскресенье... – обещал им Захар.

Весело было поглядеть на простор с чердака; но в зимнее время идти на простор в лес или к реке не особенно манило еще; да скоро река затянулась льдом и вся окрестность покрылась снегом. На дворе было морозно, но в сильно нагретых покоях было жарко и душно; Паша хотела бы ускользнуть из них. И во время послеобеденного отдыха деда она на цыпочках спускалась по лестнице в нижние покои. Как белка лазила она там по лавкам и окнам, приподымаясь к стенам, чтобы ближе посмотреть на стоявшие на поставцах золотые кубки, чарки и подсвечники с замысловатыми фигурами зверей и людей. Ладонями рук гладила она обтянутые сукном стены, испытывая тонкость сукна; рассматривала расписной потолок и изучала во всех подробностях переднюю комнату, приемную боярина Савелова. Никто не входил и не мешал ей осматривать все, от часов немецкой работы с боем до шахматной доски и резных фигур шахмат, водившихся тогда во многих домах бояр. В доме боярина почти никогда не было посетителей или чужих, и Паше нечего было бояться встретиться с кем-нибудь. В углу комнаты сидел иногда древний старик сказочник боярина, с седой и пожелтевшей бородой, но она не дичилась его; он напоминал ей старого пастуха их, Луку. Таких стариков везде держали в боярских домах, чтобы сказывать сказки на ночь, в случае бессонницы, или рассказывать про старину. Завидев Пашу, старик сказочник сам уходил в другую, столовую комнату деда, чтобы не мешать ребячливой девушке, как ее обыкновенно называли.

В первый же день осмотра Паша была неожиданно изумлена, открыв тафтяную занавеску, повешенную в простенке. Подняв эту занавеску, она увидела вдруг отраженное лицо свое, свежее и с курчавыми волосами, в большом зеркале. Никогда еще она не видела такого большого зеркала! В доме боярыни Ирины Полуектовны видела она небольшие ручные зеркала, хранившиеся в ларцах и накрытые стеганной на вате тафтой, но то были небольшие куски стекла срав-

нительно с этим зеркалом, висевшим здесь в простенке. В те времена зеркала такого размера были большой редкостью, даже простое стекло ценилось дорого и заменялось для окон слюдой; а иногда окна составляли из небольших стекол, соединенных жестяной или другого рода металлической оправой. Большое зеркало деда, боярина Лариона Сергеевича, привезено было из Польши и подарено ему боярином Стародубским. В те времена это было очень дорогим и редким подарком. Увидев себя вдруг в зеркале во весь рост, Паша долго рассматривала себя, как постороннее лицо, и потом, покрасневшись, убежала наверх рассказать все сестре. Долго уговаривала Паша сестру сойти вниз и взглянуть в диковинное зеркало, но та не решалась, боясь встретить постороннего, чужого человека.

Боярин Савелов исполнил свое обещание приходиться по вечерам в терем наверх и каждый вечер проводил там час или два в большом общем покое, с огромной изразцовой печью и небольшими круглыми окнами, затянутыми слюдой и на вечер завешенными стеганными на вате подушечками, ради тепла.

– Уж очень тепло у вас наверху! – сказал однажды истомленный жаром боярин. – Боярышням хорошо было бы прокатиться... Вели, Ирина Полуектовна, заложить им санки, Захар заложит лошадок, а Феклуша проводит их, и пускай себе хоть каждый день забавляются! Свежее и краше будут с того!

– Спасибо, дядюшка, Ларион Сергеевич, спасибо за ласку твою к моим детям и за то, что думаешь ты об их девических забавах! – проговорила, благодаря дядю, Ирина Полуектовна. – Они у меня поважены подолгу быть на воле и на морозном воздухе, а к сидению в теремах и вовсе не привыкли. Сам погляди, как рады они твоей милости к ним: у Паши глаза ровно прыгают! Благодарю, Паша, деда!..

Паша бросилась к деду и по-детски, с разбегу поцеловала его в самые губы. Дед ответил на ее поцелуй, смеясь и говоря ей:

– Ты берегись у нас, Паша, не бросайся так целовать и чужого человека!

– Она еще больно ребячлива, дедушка Ларион Сергеевич! – говорила Степанида, подходя скромно поцеловать деду руку. – Мы ее каждый день журием, останавливаем, но она от проказ еще не отвыкла!

– Придет пора, сами проказы от нее отойдут! – вступилась мамушка Игнатъевна. – А иной раз она так разумно ответит, что хоть и не в ее бы лета. А ей и всего одиннадцать годков, вот к Святкам исполнится двенадцать.

С тех пор как боярышням дозволена была новая забава, каждый день запрягал им Захар в большие сани бойкую тройку лошадок, и, степенно выехав из ворот усадьбы, он, скрывшись за первый ближний лесок, пускал вскачь свою тройку, скакавшую охотно после долгого стояния в конюшне. Меньшая боярышня прыгала в санях от удовольствия. Степанида радовалась за нее и не останавливала Захара, а Феклуша и сама не отставала от Захара в удали и затягивала в открытом поле песню, так же лихо, как лихо скакали его кони. Часто повторялась эта забава, пока по привычке не сделалась боярышням необходимою; и скоро во всей окрестности, верст на семь кругом, все окрестные села и проживавшие здесь по зимам рыбаки признали тройку и сани бояр Савеловых.

«Боярышни катаются», – говорили они, завидев их бойкую тройку.

Окрестность вотчины боярина Савелова была довольно пуста и малонаселенна. По берегам реки Ветлуги тянулась узкая полоса полей, засеянных рожью или овсом, и не встречалось сел или строений. По реке Ветлуге ходили суда и раздавались русские приволжские песни. Недалеко отступив от полосы полей, начинались леса, нескончаемо тянувшиеся на восток; все холмы и болота поросли здесь темным частым ельником и сосновым бором, шумевшим в непогоду. В лесах была пожива охотникам, на реке Ветлуге находили поживу рыболовы, и суда, груженные то коноплей, то хлебом, шли по ней на Волгу.

Боярских усадеб здесь вовсе не было видно. И соседняя усадьба бояр Стародубских, стоявшая за лесом, верстах в десяти от Савелова, на обширной просеке, подходившей к полям над Ветлугой, теперь давно опустела: старый боярин уехал в Москву, куда повез подростка сына Алексея на службу, и не возвращался в вотчину. Алексей вступил в ратную службу, а на двадцатом году отправился в поход против турок, под Чигирин. Это было в последние годы царствования царя Алексея Михайловича, когда гетман Дорошенко держался еще в Чигирине с остатками запорожцев.

Несколько лет прожила боярыня Ирина Полуектовна в вотчине дяди, и прожила их в полном уединении. Никто из окрестных бояр не посещал Савелова; он устарел и отстал от своих знакомых. Да и вотчины все опустели, и старого и малого забирали в ратные люди. Кое-где жили вдовы боярыни с детьми; а многие бояре, уезжая, отправляли семью свою в Москву для безопасности.

Весной и летом жизнь Талочановых была разнообразнее, они отправлялись на богомолье, ездили до самой Костромы, к Ипатьевскому монастырю, и посещали Макарьевский монастырь на Унже, чтобы получить благословение от славившегося святою жизнью игумена этого монастыря, Митрофания. Такое путешествие совершили они и в последнее лето и теперь были на обратном пути. Достигнув в колыхаге берегов Ветлуги, они плыли к усадьбе своей по реке на дощанике, отправив колыхагу домой по берегу. Стоял прекрасный июльский день, солнце светило в вышине на ясном небе, между легкими, пушистыми облаками, слегка нагревая, но не раскаляя воздух. На воде же постоянно веял свежий ветер и боярышням легко и привольно дышалось, вырвавшись из тесноты терема. Обе боярышни изменились с тех пор, когда еще бояре Хлоповы знавали их подростками. Они выросли и расцвели, а красивый наряд дополнял их красу, на которую некому было, однако, подивиться и полюбоваться. Старшая боярышня одета была в длинную, до пят доходившую, телогрею³ из камки, застегивавшуюся впереди дорогими пуговицами. На голове у ней была высокая шапка, *кика*, с *рясами*⁴ и наброшенной на нее фатой. Она набожно глядела на раскинувшееся над ней голубым куполом небо и шептала молитву. Смуглое лицо боярышни, небольшие черные глаза и полуоткрытые уста – все было проникнуто кротким, спокойным умилением. Меньшая сестра, еще более изменившаяся за последние годы, стояла у самого борта дощаника, вглядываясь в зеленые берега и вслушиваясь в разносившуюся по реке песню ветлужских рыбаков, то тянущуюся уныло, то оживавшую в коротких и удалых вскрикиваниях. Меньшая боярышня также стояла с полуоткрытыми устами, но она повторяла про себя слова песни и силилась запомнить ее напев. Ее по-прежнему оживленное лицо казалось теперь много крупнее, полнее прежнего; глаза ее смотрели осмысленнее, стройная фигура ее изменилась; вместо шаловливого ребенка в ней каждый признал бы теперь развернувшуюся девушку-боярышню. Она стояла у борта дощаника, спустив с своего округлившегося плеча чреватую шубку⁵ с брововым ожерельем у ворота, причем открывалась ее полная шея, украшенная жемчугом; веявший от воды ветер развеивал легкую фату, накинутую сверх головной, выложенной жемчугом повязки. Она следила за улетавшей песней, не замечая беспорядка в своей одежде. Нежданно послышался на берегу лошадиный топот, и по дороге, проходившей над берегом Ветлуги, прокатилась боярская колыхага и за ней несколько повозок служителей. Боярышня Паша не бросилась, как в былые годы, разглядывать колыхагу и бояр, но быстро опустилась на скамью, закрываясь фатой и отвернув лицо в другую сторону. С возрастом в боярышне умерилась ее живость и прежняя бойкость. Только на минуту бросила

³ Телогрея – верхняя выходная одежда.

⁴ Рясы – украшения из бус или жемчугов, спускавшиеся в виде бахромы и кистей с головного убора.

⁵ Чреватая шубка – длинная выходная одежда, летняя и зимняя; разница была в легкой и тяжелой материи. И летом при шубке носилось меховое, соболье ожерелье, то есть воротник.

она взгляд вослед проехавшим, когда они были уже далеко и повертывали к лесу от берега Ветлуги.

– Ведь, кажись, то проехал боярин Стародубский, – взволнованно проговорила Ирина Полуектовна, – из Москвы, знать, вернулся в свою вотчину!..

– Беды тут нет, что хороший сосед заведется! – успокаивала Ирину Полуектовну сидевшая подле нее старуха мамушка Игнатъевна.

– Пошли Господи всего хорошего! – прибавила Ирина Полуектовна, всегда опасавшаяся всякой перемены. – А повернула колымага к Стародубским боярам. Вот мы скоро будем плыть мимо их вотчины.

– Тогда покажи мне усадьбу, родимая! – просила Паша, наклонясь через борт дощаника над водой, отразившей ее фигуру и цветной наряд в своих серых волнах; она все еще следила за песней.

Песня была новым жизненным явлением для боярышни Паши; она заменяла ей прежнее беганье по окрестности, и ей казалось, что с песней сама она улетала вдаль и на простор. Но дощаник поравнялся с усадьбой Стародубских, стоявшей на широкой поляне между лесами. Вся усадьба обнесена была оградой, то узорной точеной решеткой, то частоколом со стороны леса. Все было поновлено, как видно, в ожидании боярина. Крутая крыша боярского дома была окрашена красной краской, бока крыши книзу закруглялись на манер бочек, и все обнесено было щитом, узорно вырезанным из дерева. На переднем фасаде были стекольчатые окна в железной оправе, с приделанными к ним, расписанными красками, наружными ставнями. Бревчатые стены дома были ровно стесаны. Наверху дома виднелись терема, пристроенные к его заднему фасаду, с красивыми башенками, с острыми крышами в виде шатров, покрытых гонтом под чешую. Вокруг дома шел сад с чистыми прямыми дорожками: все было в величайшем порядке.

– Больно хороша усадьба! – говорила Игнатъевна. – Сады подле дома, службы, конюшни, хорошо выстроено!

– Как бы не быть тут хорошему, у Стародубских много всего, в добрый час сказать! – заметила Ирина Полуектовна.

– И церковь близко от дома, – сказала старшая боярышня.

– Башенки хороши, – сказала Паша, – чай, далеко с них все видно.

– И ко двору нам недалеко от их усадьбы, по берегу по дороге верст десять, а водой много ближе, – говорила Ирина Полуектовна, плотнее укутываясь суконной червчатой распашницей⁶, застегивая ее на серебряные с золотом пуговицы и крепче завязывая у подбородка фату, спускавшуюся с ее высокой кики.

– По дороге от них сюда верст десять всего, а никогда мы здесь не бывали! И близко, да не достанешь! Нам из терема всюду далеко! – вполголоса говорила Паша сестре, а грустный взгляд ее жадно оглядывал окрестность: лес и сиявший около него крест на высокой колокольне, поле, мягко освещенное солнцем, и серенькие, мягкие волны реки, с игравшими на них блестками света. Все сливалось для ее непривычного взгляда в одну прекрасную картину Божьего мира, всегда отделенного от них стенами терема, в который они должны были теперь вернуться!

Вдали показался дощаник, плывший им навстречу; на него боярышни перенесли теперь все внимание; поместье Стародубских осталось уже далеко позади них и едва виднелось из-за леса. Дощаник шел быстро по течению реки и плыл, направляясь прямо на них.

– Помилуй нас Боже! – вполголоса молила испуганная Ирина Полуектовна. – Ведь прямо на нас плывут!

Но дощаник вовремя свернул в сторону, и они поравнялись с ним; при встрече Талочановы могли подробно разглядеть всех плывших на новом дощанике. Они увидели несколько

⁶ Р а с п а ш н и ц а – выходная летняя одежда.

цветных одежд бояр, верно плывших куда-нибудь на службу по указанию царскому; было много и торговых людей, и крестьян, и среди них зоркий глаз Степаниды Кирилловны рассмотрел двух черниц, теснившихся между старым людом.

– Нефилла! – громко проговорила боярышня Степанида, и одна из черниц, быстро повернув голову в ее сторону, послала ей поклон, на который Степанида ответила радостным кивком головы.

– К нам, в Горки! – громко проговорила боярышня, рукой указывая в сторону усадьбы деда. И на слова ее одна из черниц сделала условный знак, чуть заметно махнув рукой, и снова всем им поклонилась. Дощаник поплыл дальше в противоположную сторону, а боярышня Степанида долго провожала его глазами, озаренными радостью.

– Боярышня! – окликнула ее Игнатъевна, подергивая длинный рукав ее телогреи. – И что ты это затеяла? Разве можно так на чужом народе перекликаться с черницами? Кто знает, с каким она там народом повелася, и все смекают, что ты, боярышня, ее знаешь! Это ведь опасно!

– Опасливо! – уныло повторила Ирина Полуектовна. – Нам до дома бы скорее!

– Не опасайся, родимая! Нефилла уж не выдаст, не скажет, кто мы, коли негоже то скзывать! – успокаивала Степанида.

– Вот тайница какая! Таиться тоже выучилась! – корила ее Игнатъевна.

– Оборони, Боже! – перекрестилась Ирина Полуектовна.

Они поплыли дальше, и никто не встретился им больше на реке.

Степанида все еще смотрела вдоль реки, вослед проехавшей Нефилле; Паша смотрела по сторонам такими глазами, будто не могла наглядеться на все вокруг, а старушки притихли, словно на них нашла дремота, под тихий плеск волн около дощаника. Так достигли они берега собственной усадьбы и пристали к помосту, у которого привязывали всегда лодки их рыбаки. Недалеко от реки, на зеленом берегу, их ждала повозка с парой коней, нетерпеливо стучавших подковами о землю; казалось, им наскучило каждый день поджидать у Ветлуги боярышень, а Захар выезжал на них каждый день, готовый встретить их и забрать все их укладки.

– Здорово, Захар! – проговорила ему Ирина Полуектовна. – Как бережет Господь?

– Благодаря Богу все целехоньки! – отвечал Захар, низко кланяясь и стараясь подойти к руке боярыни; боярыня, передавая ему ларец, милостиво допустила его приложиться к руке. Степанида Кирилловна степенно кивнула ему головой, но Паша была еще на реке возле лодок. Вся укутанная фатой, из-под которой виднелись только два бойких глаза, полные любопытства, она очутилась около рыбаков. Разглядывая снасти, сачки и крючки для ловли рыбы, она шепотом спросила их, не поучат ли они ее ловить рыбу?

– Опасливо, боярышня, – ответил ей старый рыбак, – за тебя в ответе будешь, неравно утонешь.

– Не бойсь, – сказал другой рыбак, еще молодой малый, – не бойсь, авось выплывет. Коли охота есть, приходи, посмотри, – говорил он, часто мигая от лучей солнца и от смущенья перед боярышней. Паша улыбнулась, довольная его приглашением; она уже надеялась прийти когда-нибудь на рыбную ловлю и как ни в чем не бывало подошла к повозке и поздоровалась с Захаром. Она просила его не растерять ларцы их.

– Побереги. Здесь у нас образки, четки и склянки со святой водой, – говорила она так разумно, что Игнатъевна поддакивала ей, кивая одобрительно головой. Повозка тронулась к лесу, которым надо было проехать до усадьбы, и за ней побрели боярыня и боярышни, завершая пешком свое богомолье. В лесу встретила их Феклуша с детьми боярина Савелова. Феклуша принарядилась в алый сарафан из ситца, с кикой на голове и чистой, белой фатой. Поверх сарафана надет был синий кафтан с застежками. Так одевались все девушки, живущие около города, в посадах, а Феклуша не отставала от них в нарядах. Извиваясь и обегая всех

проворно бегавшими глазками, она протягивала губы к ручкам боярышень и боярыни, умиленной встречей детей.

– Насилу дождался вас! – сказал старый боярин Савелов, встречая их в сенях своего дома.

Так вернулась в свое гнездо Ирина Полуектовна, которую ожидали тут новости и перемены.

Боярин Савелов был пасмурен, несмотря на то что вернулись домой его любимые внушки.

– Феклуша! Не было ли у вас чего, не приключалось ли что? – спросила Ирина Полуектовна, когда они остались одни в тереме. – Пасмурен, невесел показался мне боярин!

– Да, приключилось дело бывалое, – дело, боярыня моя, небольшое, только боярин больно опечалился! Собрались наши люди на работы в дальнем поле, что подходит к полям боярина Стародубского, и работали там до вечера. Вечером прибегают из Волковской усадьбы крестьяне, значит от Стародубских, с дубьем и вилами. Вы, говорят, за свою межу перешли, по нашему полю бороните... гречу-то, вишь! И бросились на наших с дубьем; наши на них бросились, прибежал и приказчик наш да боярской пищалью одного из стародубских крестьян и изувечил! Боярин наш-от и опечалился! Еще сказывают, ждут и боярина Стародубского; скоро вернется в свою вотчину, – как бы не осерчал...

– Боярин Никита Петрович не гневный человек, – заметила Ирина Полуектовна, – а если ждут его в вотчину, это к лучшему; уймет он своих челядинцев!

– Надо, надо унять: буйны они становятся! – с ужасом восклицала Феклуша. – Ни пройти ни проехать мимо усадьбы их! Много народу праздного – и буйства творят.

– Я рада, коли вернется боярин Никита, – так и дяде скажу, Лариону Сергеевичу.

– Утешь его, боярыня мать, успокой, как придет он повечеру в терем! – просила Феклуша.

Но утешения боярыни не рассеяли мрачных дум Савелова. Он вызвал боярыню в особый покой и вполголоса, чтобы не слышали другие, сообщил ей, чем он опечалился.

– Ты говоришь, он человек не гневный; таким он был прежде, – то правда. Но теперь он много переменялся, – другой человек стал.

– Что ты сказываешь, боярин! – тревожно воскликнула Ирина Полуектовна.

– То, что сам видел. Ведь вернулся боярин-то Никита Петрович! Я к нему наведалься; думал, он обрадуется, – вместо того Никита Петрович вышел и меня словно и не заметил! Поздоровался, облобызался неохотно, словно приказал ему кто ко мне приложиться. Сам постарел, погнулся даже и смотрит мутно. Борода чуть не по колено, волосы длинные, побелели и желтеют, и подбородок со всей нижней губой отвисает книзу. Рано до дряхлости дошел!

– И гневен? – озабоченно осведомлялась боярыня Талочанова.

– На нас не гневается и за побитых челядинцев не сердает, но ни о чем хорошо не молвит, – на все гневен... немило ему все.

– Что за притча, иль от старости ему то приключилось, – раздумывала боярыня, – иль затосковал без сына Алексея?

Боярыня разгадала отчасти перемену, поразившую и опечалившую Савелова в Стародубском. Сильнее пролетевших над ним годов состарила Никиту Петровича тоска о сыне, уехавшем в поход; душевное настроение помогло годам, и боярин ослабел телесно и умственно. Ничто не радовало его, и он уверился, что все изменилось к худшему.

– Сама увидишь, – заключил разговор свой Савелов, – все стареем, я и прежде его помру, а таким не буду, так не переменяюсь!

– Выходить ли мне на поклон к нему? – боязливо спрашивала боярыня Талочанова.

Боярыня, всю жизнь борющаяся с разными невзгодами, – она, одна отстоявшая ото всех бед и детей и челядинцев, сохраняла непонятную даже ей самой робость пред старшими в роде. Стоило иной раз и кроткому дяде Савелову сердито крикнуть, ну хотя бы на кошку, боярышня Паша не сдержит при его крике порыва смеха, а Ирина Полуектовна вся всполохнется, точно от грома или молнии! «Сама не пойму, отчего так вдруг сердце замрет!» – говаривала она. И

ожидание увидеть боярина Стародубского наводило на нее страх. Он приходился всем Савеловым старшим родичем, и гнев его мог не добром кончиться, казалось ей, по привычке жить под властью старших в роде.

– Ужели все это и вправду так? Не померещилось ли то дядюшке Лариону Сергеевичу? – спрашивала она сама себя. Но при первой встрече с Никитой Петровичем она убедилась, что все было справедливо.

Посетил их сосед и выказал будто прежнее расположение, порадовался, кажись, на боярышень, вызванных для дорогого гостя; но ради всякой малости тут же раздражался, всему печалился и на все жаловался, особенно на новые порядки.

– Знаете наши новые порядки? Все оттого, что много появилось у нас чужеземцев: и в полках они, и в воеводах сидят; а наши боярские сынки начинают их одежду носить и по ихнему бороды брить. Образа Божия себя лишают, сбывая бороды. Книги иноземные читают, и у царя, наверху, те книги, сказывают, в почете.

– Что за книги, откуда они появились? – спрашивала боярыня Талочанова.

– Теперь полна Москва новых учителей, кроме прежнего Симеона Полоцкого!

– Кого же все они-то учат? – подобострастно расспрашивала боярыня.

– Пока только книги строят, составляют да толкуют, что надо и для боярских детей школу такую устроить; и боярин Матвеев первый о том толкует, и не к добру то ему будет.

– Может, и не к худу? – кротко проговорил добродушный боярин Савелов, разглаживая свою серебряную бороду, лежавшую на груди до пояса, и уставив на Стародубского спокойные голубые глаза. Но боярин так же уставился на него мутными глазами и молчал с минуту, словно задыхаясь.

– Да к добру разве то будет, коли нас учить начнут католики, что отпали от православия? К добру их латинские книги? – крикнул он вдруг на Лариона Сергеевича. – Простоват ты, боярин! – закончил Никита Петрович. – А откуда же все отступники, церкви непокорные, и раскол?..

– В расколе что хорошего! – поспешил согласиться Савелов, довольный, что в чем-нибудь можно согласиться с раздраженным боярином.

– А иноземное тот же раскол, – кричал Стародубский, – народ еще крепче своих глупых помыслов держаться станет, коли увидит на нас чужеземную одежду.

Боярин Савелов не преследовал иноземной одежды, но не спорил, чтобы не раздражать соседа, и переменял разговор:

– Как смекаешь, боярин, – спросил он, помолчав, – хороши ли наши овсы будут, уродятся ли лучше прошлогоднего?

– То по осени будет видно! – ответил Стародубский, смеясь, казалось, простоте Савелова. Но смех смягчил его, и он уже мягче вел беседу дальше и спокойно толковал о ссоре их челядинцев за межи.

Ссоры за межи и границы владений часто случались в то время, и везде чувствовался недостаток хорошо означенных межей и крепких актов владений.

Первое посещение Стародубского сошло благополучно; боярыня Талочанова приободрилась, уверясь, что гнев его не направляется на их семью. Но к концу лета у нее явилось другое горе. Случилось, что боярин Савелов простудился, выйдя из жаркой своей мыльни на свежий воздух. Болезнь эта была для Ирины Полуектовны первым поводом заглянуть в будущее.

– Не бойся, боярыня! – говорил ей, посещая больного соседа, боярин Стародубский. – В случае его кончины я после Лариона Сергеевича остаюсь вам старшим родственником. Если Господу угодно призвать его к себе, то я за себя возьму всю семью вашу и имуществом буду заведовать. Ирина Полуектовна благодарила старого боярина, в душе содрогаясь пред таким будущим.

– На все воля Божия! – с трудом выговорила она, осеняя себя крестным знамением.

По воле судьбы и многим накопившимся обстоятельствам ей готовилось много мрачных дней в будущем.

– И благо еще, – говорила она тогда, – если все это временное испытание и если пошлет еще Господь нам ясные дни!

Сыну боярина Савелова не суждено было вернуться, он был убит в первой стычке с полчищем крымских татар, пришедших на помощь запорожцам. Известия о битве были присланы в Москву главным воеводой, и между убитыми числилось имя Савелова. Больной Ларион Сергеевич, казалось, уже не в силах был оправиться после такой потери; болезненное состояние усилилось. Все это тяжело отозвалось на боярыне Талочановой; до этого времени на руках ее были, кроме дочерей ее, и дети убитого молодого боярина; теперь прибавилось все управление вотчиной, как было в ее собственной усадьбе, толки с приказчиком Василием и денежные расчеты. Снова, как при жизни в своей усадьбе, она вставала с зарей; еще ночной туман расстилался тонким облаком над Ветлугой, когда она, накинув телогрею и покрыв голову убрусом, садилась в небольшую повозку и объезжала поля или сенокос, раздавая распоряжения на весь день рабочим и приказчику. Солнце поднималось уже высоко в небе, когда она возвращалась домой. После целой недели труда она находила отдых, посещая церковь вместе с дочерьми; она выстаивала всю долгую службу всенощной, с незатейливым пением дьячков, при слабом мерцании тонких восковых свечей. Боярыня Талочанова молилась с упованием, что милосердие Божие придет ей на помощь, и любовно взглядывала на дочек, нарядно одетых и сиявших здоровьем и румянцем. Безропотно и бодро несла свой жизненный труд Ирина Полуектовна, как несли его многие женщины того времени, с терпением и верой, что так и быть должно.

Боярышни встречали судьбу свою не так спокойно. Еще недавно расстались они со свободой, выпавшей на долю их в детстве; тяжело казалось им стеснение их молодости теперь, и со страхом ожидали они возможности попасть под более тяжкий гнет чужой семьи, а это равно могло случиться и при замужестве, и при опеке, попавшей в руки старшего, но далекого родича. Паша ежедневно старалась о том, как бы обойти все обычаи и обряды и остаться при своих привычках, хотя втихомолку; Степанида все более склонялась к мысли искать мирной жизни в монастыре в случае притеснений со стороны.

Вернувшись с богомолья, она ждала посещения Нефиллы, как ждут теплых лучей солнца после долгих пасмурно-холодных дней, какими казались ей все дни, прожитые ею на Ветлуге, без встречи с любимыми черницами. Она давно не слышала бесед, так сладко волновавших ей сердце и голову, обещая ей райские сады взамен ее сурового окружения четырьмя стенами терема. Ей рисовалась отрадная жизнь монахини; все внушения Нефиллы она принимала за чистую действительность.

– Нефилла, – проговорил однажды Захар, завидя меньшую боярышню пред окном на вышке. Не спрашивая, где была Нефилла, Паша сбежала с отвесной лестницы вниз и в теремном покое прошептала имя Нефиллы над ухом сестры, опустившей очи в землю. Надулав что-то, Степанида сказала сидевшей подле детей Ирине Полуектовне:

– Пойти мне разве посмотреть, пироги бы не перегорели!..

– Пойди, если в охоту тебе, – ответила боярыня, взглянув на дочь вполглаза из-под опущенных век. Степанида ушла не мешкая; своей ровной тяжеловатой походкой, со скромно опущенными глазами, она попевала всюду вовремя, когда ее осеняла благая мысль.

В сенях она повстречалась с мамушкой Игнатьевной.

– Спешись, боярышня, к своей игумень? Долго ли будешь с нею совещаться? В последний раз покрываю тебя, Степанида Кирилловна! Ведь грех мне скрывать-то от родительницы твоей. Вспомни, что и боярин Никита Петрович недалеко, побойся ты его!.. – говорила Игнатьевна Степаниде, которая шла вперед не останавливаясь.

– Может, и придется за правду гонение перенести, – проговорила Степанида спокойно и отворила дверь в кухню. Игнатьевна осталась на месте, пораженная ее твердым ответом.

– Вот оно куда пошло! – проговорила она наконец. – Нет, пора, видно, поведать обо всем боярину Савелову, чтобы не быть пред ним в ответе.

Степанида, не ожидая грозы на ясном небе, здоровалась с целованием с сестрой Нефиллой и наклонилась принять от нее благословение.

– Вижу, верно держишься ты нас! – проговорила Нефилла теми басовыми нотами, звуки которых считались в кружке раскольников гораздо достойнее тонких, дискантовых голосов. – Ждала ли ты меня? – спросила Нефилла с ласковой, сладкой улыбкой.

– Каждый день молилась, чтобы нам пришлось встретиться! – говорила Степанида, стараясь усвоить голос и напев Нефиллы.

– Милость нужна нам, – внушительно проговорила Нефилла, – наша братия в нищете и в бедах! Собираем подаяния на случай переселения. Садись, сестра Степанида! – произнесла черница уже повелительно.

– Пройдем в комнату, что за кухней; не принести ли чего из съестного?

– Пятница ныне, опричь просфоры ничего не вкушала. Так все должны делать ради Царствия Божия.

– Не могу еще, повинюсь тебе, – с сожалением сказала Степанида. – И смотрят за мною, велят вкусить чего-нибудь.

– Придет время, что вольно будешь жить. Пока потерпи, а постарше будешь, в скит тебя примем.

– Где же скит задумала устроить? – спросила боярышня.

– На Дон идем, к казакам, а может, и до Тобольска странствовать придется. Ты еще жди, много лет готовься, а пока помогай нам, чем можешь.

– Вот припасла, что мне боярин, дед наш, дарил на гостинцы и на ожерелье меховое соболье, – сказала Степанида, вынимая из кармана небольшой кошель и показывая Нефилле золотые монеты.

– Спаси тебя Боже! – говорила Нефилла, принимая помощь и крестясь двуперстным знаменем. – Надолго я уйду теперь из вашего края, но к тебе вести присылать буду через наших: придут к тебе от Нефиллы.

– Куда же уходишь? – с сожалением спрашивала Степанида.

– Вести пришли дурные. Отец Аввакум прощен был, возвращен в Москву и был в милости у самого царя; теперь, слышно, снова пострадал за правду. Не послушал он соборных увещаний, ни ласке царской не поддавался: просил его царь покаяться, слезно просил признать новые книги; жалел его царь за все вынесенные им страдания. Но не поддавался отец Аввакум. Сказали в Москве, что он юродив стал и народ ради его смущается. Иду я, не встречу ли его на пути его в дальний край, – может, придется ученья его послушать и поклониться ему.

– Пошла и я бы с тобой... – робко предложила боярышня.

– Погоня будет за тобой, – и вмиг остановка. Читай пока Святое Писание по старым книгам.

– Читаю, но не вразумил еще меня Господь, не вижу разницы между старыми книгами и новыми, все слово Божие...

– И я не разумею, только вера у меня есть в книги старые! И дочери духовные Аввакума, боярыня Морозова и сестра ее Евдокия Урусова, обречены на заточение, за то, что твердо держались нашего учения. И ты...

Но сладкие беседы были прерваны неожиданным появлением мамушки Игнатъевны.

– Что тебе, мамушка? – спросила Степанида удивленно.

– Я вот с этой святой душой потолковать пришла. Знаешь ли, мать-черница, что есть такой у нас боярин, что вас больно не любит!.. – спрашивала Игнатъевна.

– Пусть простит ему Бог, по неведению люди зло творят!

– Нет, он ведаёт, что вы зло разносите, отрываете народ от Церкви Православной... Вы-то все отступники...

– Брани, брани! За гонение возлюбит нас Господь! – говорила Нефилла кротким голосом; но сквозь далеко еще не усвоенную кротость в голосе ее слышны были звуки, напоминавшие о вражде и ненависти. Степанида растерянно смотрела на ссорившихся старух.

– Уйди! Уходи, Степанида Кирилловна, если нежелательно тебе, чтоб я выдала эту черную ворону боярыне и боярину! – говорила мамушка, силою стараясь вывести из кухни боярышню, взяв ее за руку.

Разъяренная черница опередила их на дороге к двери. Она стала на пороге и с сверкающими глазами из-под надвинутого на лоб платка подняла руку и послала Игнатъевне двумя перстами крестное знамение.

– Прочь, прочь! – кричала старая мамушка, открещиваясь по-своему, закрывая глаза, чтобы не видеть такого нечестия. Степанида освободилась из рук ее и, обняв черницу, быстро увела ее в сени. Она указала Нефилле небольшую лестницу, по которой можно было сойти на внутренний двор, где были конюшни и черница могла найти Захара. Нефилла быстро исчезла, а Степанида, заплаканная, бросилась в терем к родительнице и жаловалась ей на суровое обращение со странницей.

– Вечером спрошу Игнатъевну, а пока помоги мне попить деда душистой травкой, – спокойно ответила ей Ирина Полуектовна. Игнатъевна вошла, готовая к допросу, но разбор неудовольствий между нею и боярышней Степанидой был отложен до вечера.

Старый боярин Никита Петрович Стародубский, вернувшись из Москвы в свою вотчину за дряхлостью и слабостью, жил уединенно и скучал без сына. От скуки он ссорился с приказчиком, с крестьянами и вошел в препирательство с воеводой Костромы за посадских людей, поселившихся на его земле. Возвращаясь из Костромы, заглянул он к Савелову и застал больного в невеселом расположении. Лариону Сергеевичу только что решилась Игнатъевна донести о посещениях Нефиллы.

Испросив позволения посетить больного, она приотворила дверь его комнаты и просушила голову; боярин прочел на ее добром лице следы тревоги и беспокойства.

– Войди! – сказал он, поправляя подушки, на которые облакачивался, сидя на своей высокой постели.

– Великого блага и здоровья тебе от Господа! – говорила, входя, Игнатъевна и, кланяясь до земли, просила боярина выслушать верную слугу его.

– Коли дело есть, говори! – сказал Ларион Сергеевич.

– Дело немалое, речь моя будет о боярышне Степаниде Кирилловне...

– Что с нею приключилось? – спросил боярин испуганно, приподымаясь с подушек.

– То, что повадила она к себе черниц и странниц, сбивают они вашу голубушку с толку: научили креститься двумя перстами и их книги читать. Началось то еще на Унже, а вчера и сюда пробралась черная, мать Нефилла! Слышала, что подговаривала она нашу голубку вступить в скит, посетить их сборище! Рассуди, боярин, как нам сберечь ее.

Вся в слезах мамушка ждала ответа боярина, который выслушал все молча и задумчиво и ответил спокойно:

– Не плачь, беды большой нет! И если то было невдомек Ирине Полуектовне, так мы здесь бережем боярышню. Вели запереть у лестницы теремные двери, а на лестнице посадить сторожа...

– Не годится Захар... – робко прервала речь боярина Игнатъевна.

– Найдем понадежней, – возразил боярин, – сказочника моего посади, он будет и сказки сказывать! Поговорим с родительницей и с соседом посоветуемся: все по молодости, думаю. Отдадим замуж, поумнеет. Ступай, ты не в ответе, только не болтай о том.

– Спасибо за милостивое слово, спаси нас Господь, отведи беду! – кланяясь, проговорила Игнатьевна и скользнула в дверь, чтобы незаметно вернуться в терем. Едва успел обдумать, что слышал, Ларион Сергеевич, как доложили о приезде Стародубского.

– Получше ли тебе, боярин? – спрашивал, входя за слугою, Никита Петрович.

– Сил нету прежних! – жаловался Савелов.

– Приободришься, переломи недуг, вот я не балую себя, дома не сижу, хотя и одряхлел по воле Господа, и ты бодрись!

– Не в охоту мне! – проговорил боярин Савелов, и в болезни сохранивший кроткий взгляд и спокойную речь. – А где же ты побывал, Никита Петрович? – спросил он.

– В Костроме. Вызывал меня воевода.

– Что нового там?

– Все то ж! Недостает, вишь, войска и денег на ратных людей. И еще бы наложил деньгу воевода, да не на кого, посад без людей остался! Семейные разбрелись по вотчинам, одинокие уходят к раскольникам, а раскольники уходят на Дон и в Сибирь, скиты устраивают в пустынях.

– Спугнули их напрасно, они на местах бы молились, дома! – проговорил грустно Савелов.

– Да ты одурел, что ли, боярин? – крикнул Никита Петрович. – Ведь они на месте наших попов не хотят!

– По глупости, по слепоте, – возражал Савелов, – одумались бы сами и поняли, что Господь один и все люди братья!

– Ты не слыхал, видно, о них... Где им одуматься, когда ни епископов, ни царя слушать не хотят! Знаешь, чай, что за протопопом Аввакумом сколько ухаживали в Москве, чтобы новые книги признал, не мутил бы народ...

– Пройдет время, и к новому народ привыкнет... – кротко возражал Савелов.

– Ты этого уразуметь не можешь, ослаб ты! – крикнул Стародубский. – Не одних челядинцев сманивают, и боярыни в раскол идут! Знаешь, что боярыню Морозову сам патриарх увещевал, и царь уговаривал, и все отступились от нее, ради ее бешеного упрямства!

Боярин Савелов слушал, бледнея и что-то обдумывая про себя.

– Всем опасаться надо, – заговорил он вдруг тревожно, – и у нас есть боярышни!

– Чего ж тебе за твоих-то опасаться? Сидят в тереме с мамушкой!.. – смеялся Никита Петрович.

– Скажу все тебе и спрошу совета. Ты у нас старший! Посещали нас черницы и с боярышней Степанидой беседовали...

– Пробрались на родину Аввакума? Да к тебе они как зашли, боярин? – удивлялся Стародубский.

– На Унже принимала странниц Ирина Полуктовна, – высказал Савелов.

– Знать, у Савеловых в роду у вас, все вы недомекаете! – воскликнул Никита Петрович.

– Чем Бог наделил, тем и живем, – смеясь, сказал Савелов. – Смолоду в походах бывал и на царских пирах место было, теперь пора грехи отмаливать!

– Не попади на грех снова: поистине опасно! Помни ты про боярыню Морозову! – грозил Стародубский.

– Наша смиренна, как голубка! – возразил Савелов.

– Они вначале все смиренны! Слышал ты, что в Сибири, в скиту заперлись, обложили себя соломой и сожглися? Чтобы не допустить забрать себя, сколько народу погубили!.. Не погубить бы и тебе боярышню.

– Я чаю, хорошо бы повенчать ее с кем-либо поскорее, под защитой жила бы... – робко высказал боярин Савелов.

– Да, – подтвердил Стародубский, ободряя его, – за человека разумного, и наградить ее не откажись, – говорил Никита Петрович, которому по мыслям было намерение Савелова выдать внучку.

– Наградить я не прочь, но за кого же?..

– Надели невесту своими поместьями, а я жениха привезу, как вернется Алексей с похода!

– Чувствую твою ласку и милость, – говорил умиленный Ларион Сергеевич, – умру спокойно.

– Другим внукам твоим еще останется довольно, а меньшую боярышню на себя возьмет наградить Ирина Полуектовна. И будь покоен за Степаниду, будет она за мою защитой! До греха ее не допустим.

Судьба боярышни Степаниды и Алексея была решена на этом совещании, и бояре простились довольные.

Но не так довольна была Степанида, когда решение это было объявлено ей через родительницу несколько времени спустя. Невесело приняла эту весть и сама Ирина Полуектовна; боялась она за судьбу дочери в доме Стародубских, и ни света, ни радости не виделось ей в этом сватовстве. Степанида не кручинилась при матушке и не промолвила ни слова.

– Что же ты на это молвишь? Что думаешь, Степанидушка?

– На все воля Божия. Чаю, что Он того не допустит! – промолвила она.

– Может, Господь счастье посылает тебе, сироте, дай же ты мне ответ... – неохотно уговаривала ее матушка.

– Рано про то задумываешь, – и жених еще с войны не вернулся; дозволит ли то Господь, уйдет ли он от турок иль ляхов, – того не ведаем! И грешно пока о том задумывать! – уклончиво отвечала Степанида.

– Не прекословь больному деду и не гневи его до времени, – просила боярыня.

– Не стану гневить, – тихо сказала Степанида.

Но не то говорила она сестре и мамушке; на расспросы их о сватовстве она высказалась им не таясь:

– Слушай, мамушка! И не думай, чтоб я повенчалась с кем-нибудь, а не только с боярином Стародубским! Семья их живет не так, как угодно Богу. Молодой боярин и теперь своих братьев христиан убивает! Ты что скажешь про то, сестра Паша?

– Что на войне он, – в том боярин неповинен; и отец твой, и крестьяне ходят на войну, когда царь приказывает! – высказала Паша.

Степанида усмехнулась молча, словно хотела сказать: ничего вы не разумеете!

– Все живут в суете и грехах, – промолвила она.

– Ты не смыслишь того, боярышня! Пришло время, выбрали тебе суженого, а твое дело в послушании оставаться у родителей. И Бог пошлет тебе за то счастье, – говорила Игнатьевна.

– Этого счастья я не просила у Бога! Ежели сестра Паша от такой доли не отвернется и суженый по ней придется, так я отдам ей свое счастье и все, чем меня дедушка милостиво наделить думает, – закончила Степанида.

– С нами крестная сила. Да оборони Бог, услышал бы тебя Никита Петрович! – воскликнула мамушка.

Паша смутилась вдруг; яркий румянец выступил у нее на всем лице, она смотрела испуганно.

– Лучше бы тебе выйти за боярина... – проговорила она.

– Никогда того не будет, – горячо ответила Степанида. – Пока не говорите про то никому; матушку не печальте и деда не гневите!

– Будь по-твоему, боярышня; но ты все обдумай, чтобы не жалеть тебе после. – Мамушка ушла с этими словами, и сестры остались вдвоем.

За последнее время узнали они много нового, испытали много неприятного и тяжелого. До этой поры они повиновались матери, и незаметно было вмешательство чужой руки. Теперь проявилась власть деда и начинала тяготеть над ними еще одна чужая воля. Степаниду сильно журили за опасные сношения с черницами, и запрещено было принимать их; служащим при доме запрещено было допускать черниц близко к усадьбе. Захар был заподозрен, и за ним присматривали. Внизу, на пороге лестницы, ведущей в терем, сидел старик, сказочник боярина Савелова; он же сторожил лестницу и ночью.

Сама Ирина Полуектовна выдержала допрос Никиты Петровича о том, не потакала ли она дочери. Долго после того она ходила растерянная, не спала и не ела. Обе боярышни редко выходили даже в огород или в сад с мамушкой, несмотря на хорошие дни в начале октября.

Обе сестры сидели за вышиваньем, чтобы сократить время. Паша замечала, что вянет сестра, болеет душой, и, чтоб утешить и рассеять ее, читала ей вслух Евангелие по совету священника их, отца Максима, который указал на это чтение как на спасенье для боярышни.

– Не жалею, что не видишь черниц, – говорила Паша сестре, – и без них можно читать святые книги. Я немного поучилась у тебя, а уж читаю Евангелие и все понимаю.

– И я рада. Сказывал отец Максим, что в Евангелии самой можно узнать, о чем проповедь Христа была, – сказала Степанида.

– Мы с тобой прочли все Евангелие, и нигде апостолы не указывали, чтобы двумя перстами креститься должно было... – высказала меньшая сестра.

– Правда, но после их святые отцы так положили, – так и должно быть! Так сказал протопоп Аввакум; у меня листочки были, списанные с его слов, – говорила Степанида.

– Отец Максим говорит, что только Божие слово помнить должно и то, что Господь от нас требует; приказывает он любить ближнего, делать добро и властям повиноваться. А ты не слушаешь ни родительницы, ни деда; не был бы то грех на душе твоей.

– Вот это меня и сокрушает! Не знаю я, кто правду говорит, родительница ли, черницы ли или батюшка Максим? Думаю, думаю, и голова у меня разболится! Не пойму, где правда! – с сокрушением и ломая руки горячо высказывала Степанида.

– Зачем тебе понимать стараться, – отец Максим говорит, что надо веровать и не думать о том, чего понять мы не можем! И Господь от нас больше ничего не потребует. Евангелие надо помнить и заповеди исполнять, – убеждала меньшая боярышня.

– Апостола Павла ты не читала или не помнишь, – сказала Степанида, вскинув вдруг глазами на Пашу, что всегда пугало сестру; в глазах Степаниды Паша увидела много тайного и непонятного.

– Указывает, что лучше не жениться и не выходить замуж тому, кто желает спастись. Этого нам батюшка Максим и не сказывал. Вот я и думаю, что и по Евангелию тем же путем спастись можно! – закончила Степанида успокоенная, и по лицу ее разлилось выражение тихого довольства.

– Вот ты сама нашла себе путь, а черницы твои на него не указали; может, и сами они не по хорошей дороге идут, – спешила доказывать Паша.

– Господь простит им, если они ошибаются. По вере вашей дастся вам, сказал Господь! – задумчиво ответила Степанида.

– Да худо, что они других всех сманивают, не знающих слов Христовых, – заметила Паша.

– В том нет вины, – по усердию старались они; Бог им то простит!

– Пусть Бог им простит! А ты, сестра, не должна видаться с ними! – просила Паша.

– Я больше никогда не увижусь с ними, но буду о них всегда молиться: они привели меня к спасению! – был ответ сестры.

Паша порадовалась про себя такой перемене и повеселела. Она открыто взглянула в лицо сестры, чего давно не в силах была сделать. Она знала теперь, что у нее на душе, и не опасалась заглянуть ей в глаза. А прежде она боялась увидеть в них что-то суровое и непонятное, словно затаенное.

Время шло. Наступила зима; первый снег посыпался большими хлопьями, и Паше вспомнилось их катанье в санях. «Позволят ли нам кататься в эту зиму, не помешает ли старый боярин Стародубский?» – вот о чем она тужила. Но добродушный дед подумал о ней.

– Не запрещай боярышням прокатиться в санях на воле, – говорил он Ирине Полуектовне, – ты только одних их не отпускай. Пусть катаются с ними и санные девушки, и Феклуша чтоб их провожала.

Какой радостью было для Паши такое позволение! Она позабыла всю принятую с возрастом степенность и, как в хороводе, пронеслась кругом по комнате, притоптывая ножкой. Ее радость вызвала улыбку даже у Степаниды.

– И ты поедешь с нами, сестра, ведь в этом нет греха или вреда! – говорила ей Паша.

– Поеду. Ты веселись, а я на тебя порадуюсь! – ответила сестра.

И снова начались катанья по берегу Ветлуги. По окрестности раздались звонко песни все молодых голосов санных девушек и вышивальщиц Ирины Полуектовны, провожавших боярышень. Голоса эти были и грубоваты, и крикливы, но в них слышалось, что то молодость веселится и радуется жизни.

Молодости люб и морозный ветер, и снег, забелевший в поле, и гладкая, как скатерть, дорога, по которой санки катят, скользя без задержки. Ветер разносит песню в просторе ненаселенных полей, едва охватываемых глазом. С песней проникает вдаль и порыв души, и молодость яснее сознает себя, сама прислушиваясь к этим вырвавшимся у нее звукам. Так забывали боярышни и душный терем свой, и подавленную волю, тешась песнями и катаньем.

Ларион Сергеевич начинал выздоравливать, но родные были еще беспокойны за него; силы его крепили понемногу, он выходил из своей комнаты, но был безучастен к жизни и ежедневным делам. Словно он о живом не думает, казалось Ирине Полуектовне. А жизнь и все живое двигалось вперед, и перемена следовала за переменной и к лучшему, и к худшему. Так, в феврале, в середине зимы этого года, разнеслась весть, тревожно шевельнувшая русских людей. Вся Русь почуяла, что оборвалось что-то, за что крепко держалась она, и опустело все. Чего-то не стало, а впереди было все неведомое! Такое чувство объяло всех при слухах о кончине царя Алексея Михайловича, и охватила народ тоскливая боязнь.

Много уже бед случилось на Руси при кончине царей. Русь отдыхала и собиралась с силами в это многолетнее царствование, и снова спрашивали теперь русские люди: что же будет с нами дальше?

Боярин Стародубский привез эту весть в вотчину Савеловых; вошел он в хоромы мрачный и казался сердитей прежнего.

– Что сумрачен, боярин? – спросил его Ларион Сергеевич, в первый раз вышедший в свою большую палату.

– Чему радоваться! Не слышал ты разве? Государь наш великий преставился... Что ты, что ты? – бросился вдруг Стародубский, прерывая речь, видя, что Савелов пошатнулся вдруг и едва успел схватиться за дверь.

– Ошеломил ты меня этой вестью, боярин! Словно обухом по лбу, – дрожа проговорил слабым голосом Савелов. – Что же теперь будет? За кем мы остались?..

– За царем Федором Алексеевичем! Вчера прибыл гонец из Москвы, объявил о том воеводе в Костроме.

Боярин Савелов перекрестился.

– Ну, смуты не будет, коли уж царь есть! – проговорил он, обнадеженный, и тихо перекрестился снова.

Глава IV

Прожив почти до двадцати лет в костромской вотчине своего отца, Алексей, сын боярина Стародубского, незаметно из мальчика обратился в сильного и статного юношу. Лицом и ростом он был, как это все находили, похож на отца и был таким же молодцом, каким был отец его в молодости. И нравом он был в отца: добр, но с норовом. Иной раз ему перед отцом не хотелось покориться; часто приходилось увещевать его.

– Ты знаешь, – говаривал ему отец, сдерживая его пылкий нрав и толкуя ему про обычаи своего времени, – ты не только мне, но и всему нашему роду должен покорным быть! Дяди ли, старшие ли их сыновья – все над тобою старшие!

Алексею досадно было считаться меньшим в роде.

Когда-нибудь выслужусь на ратной службе, – думал он, – и стану наравне со старшими...

Но пока приходилось покорно жить при отце. Тогда поздно начинали учиться; двенадцати лет Алексей только начал учиться читать, писать и счету у своего приходского дьякона. В пятнадцать лет от дьякона перешел он к другому учителю, пленному поляку, шляхтичу Войновскому. Боярин Стародубский принял к себе пленного поляка править дела по хозяйству, но потом поручил ему также обучать Алексея всему, что он мог преподавать. В то время пленные поляки нередко попадали учителями в знатные дома бояр. Многих же оставляли в Москве, как слесарей и живописцев, находя, что они работали не хуже немцев; и немало их работало во дворце царя Алексея Михайловича.

Шляхтич Войновский выучил Алексея читать по-латыни и по-польски. Читением и переводом сокращали они длинные зимние вечера. Днем шляхтич вместе со своим учеником пропадавал на охоте в окрестных лесах. Упражняясь ежедневно, Алексей уже в пятнадцать лет был ловок в стрельбе и верховой езде.

Часто он бесстрашно ходил с крестьянами в бор на медведя и находил это тогда занимательнее латыни и математики. Но зато насколько он любил в детстве слушать сказки жившего у них старца Дорофея, настолько он слушал теперь с пылким любопытством рассказы шляхтича о польской жизни, обычаях и о странствиях Войновского в чужих землях или рассказы его об училищах и коллегиях Рима, где он учился когда-то; затем шли описания великолепных храмов Италии и Германии, где также много было диковинок. Много видевший шляхтич, не любивший Россию, презирал в душе ее невежество, только не позволял себе открыто высказывать это презрение перед боярами Стародубскими. Если он проговорится, бывало, наедине с воспитанником, то тут же поспешит прибавить, что и в России изменятся порядки, когда заведут в ней училища и коллегии, и будут тогда и в России ученые и образованные люди. Войновский передавал воспитаннику, что все это готовилось в Москве; он слышал о том, когда оставался там после освобождения пленных поляков и сам работал в «Книгопечатне», основанной при Посольском приказе.

– И теперь, – говорил Войновский, – в Москве работают монахи, пришедшие из Киевского братского монастыря: их призвали исправить церковные книги, сличив их с греческими подлинниками.

– Да, – прерывал его Алексей, – я слышал про это от бабушки. Когда отец был в силах и жил в Москве и ко двору являлся с боярами, то видел там и монаха из Полоцка, Симеона, учителя царевичей и царевен.

– Он и теперь еще в Москве и в милости у царя Алексея Михайловича и его царевичей.

Из беседы со своим случайным учителем, заправлявшим хозяйством отца, Алексей познакомился и с другими взглядами, подробно слышал о жизни в чужих землях. И нравились, и непонятны были ему нерусские обычаи, и понимал он, что Войновский порицал все на Руси, называл ее обычаи варварскими, толкуя ему это нерусское слово.

Когда война на Украине с Дорошенкой и турками требовала все новой и новой силы, то по всей стране велено было забрать в ратные люди все, что было молодого и сильного, и Алексей должен был поступить на службу. Никита Петрович поехал сам проводить сына в Москву и отдать его под покровительство знакомым и сильным людям, пользовавшимся милостями самого царя. В Москве просил он за сына у боярина Артамона Сергеевича Матвеева, приближенного ко двору. Молодой Стародубский хотя и прожил детство и годы юности в глухой вотчине отца, но был смысленнее многих боярских сынков, проживавших в Москве, в виду у царя, или служивших в ратных людях. Он был смысленнее, вдумчивее их и с особым уважением относился к более развитым людям; особенно интересовало его все, что он видел и слышал в доме боярина Матвеева, который радушно принял его отца и ласково обратил внимание на Алексея. К нему ласково относились и все бояре, знавшие давно его отца; молодость, красивое лицо и разумная, сдержанная речь располагали в его пользу. Кроме того, он ехал в дальний поход и ни у кого не стоял на дороге к местам и чинам в самой Москве; не намерен был остаться всем бельмом на глазу своим статным видом и старинным родом. Несколько месяцев, однако, пробыл в Москве молодой Стародубский, прежде чем сформированы были новые полки и нашлись деньги для отправки их в поход. В эту бурную для России пору накопилось много тревожных вопросов и дел. Предложившие царю свою покорность, гетманы запорожские снова колебались и призывали на помощь турок и крымцев. Польша неискренно относилась к перемирию, заключенному с Россией, и тайком от нее вела переговоры с турецким султаном. Большое войско посылалось на помощь к Ромодановскому, идти с ним за Днепр на гетмана правой, еще не покорившейся, стороны Днепра – на Дорошенко, собравшего около себя в Чигирине остатки не принявшего русского подданства казачества.

Наконец молодой Стародубский получил из Разрядного приказа назначение на службу в полк Шепелева. Среди зимы 1674 года Стародубский, приняв благословение отца и поклонившись святым храмам Кремля, выступил из Москвы с отрядом, к которому был причислен. Отряд шел, как сказано, в войско Ромодановского, стоявшего на берегу Днепра; недавно воевода прогнал за Днепр Дорошенко, опустошавшего города левобережья, и стоял теперь, ожидая помощи и новых распоряжений из Москвы. Полк Шепелева, к которому причислен был Алексей, двигался медленно по глубоким снегам, оставляя по пути в городах немало больных и ослабших на попечение местных воевод.

Продвигаясь на юг почти по всей России, Стародубский собственным опытом убеждался в беспорядках, царивших на всей Руси, о которых прежде знал по слухам. Сама живая жизнь убеждает глубже, пробуждая жалость к страдающим и утесненным. Везде, где только случалось Алексею толковать с местными жителями, были слышны жалобы на воевод. Их обвиняли в поборах, в жестокости при взимании податей с посадских людей и горожан. В городах встречались населения из одних боярских детей, а посадских почти не было, – все они разбежались, находя, что невозможно заниматься ни торговлей, ни ремеслом при постоянно возрастающих поборах. Причиной этих налогов была постоянная война на окраинах.

Посадские люди переходили на землю помещиков, закабалили свой труд, а податей в городах собирать уже было не с кого; в казне чувствовался недостаток в деньгах.

Непривлекательные и неутешительные картины пришлось видеть Алексею и дальше, на Украине, и на самой родине шляхтича, порицавшего так громко все русские порядки.

В древней русской столице Киеве, вновь оставшемся тогда уже за русским царем, полк, с которым шел Алексей, расположился на отдых; город был сильно разорен частыми нашествиями; теперь в нем был русский воевода, встретивший русское войско. В Киеве, на улицах, пестрели разнообразные одежды польских панов, евреев и других иноземцев; впервые видел здесь Алексей свободно выходивших по лавкам и на прогулку польских панночек в красивых платьях, обтягивавших стройный стан.

На улицах Киева стояло еще много развалин прежних домов, разрушенных и еще не поправленных вновь; русские воины пошли поклониться Печерской лавре и принять благословение митрополита; монахи имели унылый вид, – они жили постоянно в страхе, опасаясь новых нашествий и разгрома.

Храмы лавры, возвышаясь на древней Печерской горе, видны были из-за окружавшей их стены и сияли золотыми куполами; глубокий овраг, поросший лесом, теперь обнаженным, безлиственным, отделял от дороги старую Киево-Печерскую лавру; окружавшие ее стены местами были полуразрушены и примыкали к крепким, недавно восстановленным воротам; русские воины вошли в храм, и вместе с ними молодой Стародубский преклонился перед мощами основателя лавры, св. Феодосия; провожавший их монах провел их также к гробнице митрополита Петра Могилы, похороненного в Печерской лавре; возвращаясь к своим квартирам, русские любовались на город, лежавший у подножия Старокиевской горы; улицы постепенно понижались по ее скатам; нижняя часть города состояла в то время из бедных мазанок, наполовину разрушенных пожарами во время разгрома; в зимнее время сторона эта не представляла особенно живописного вида. Вернувшись в квартиру, Алексей наскоро пообедал и не ложился отдыхать по общему обычаю, но пошел осматривать город; он направился отыскивать в нижнем городе древний Братский монастырь с духовной академией, о которой он наслышался в Москве, где предполагали уже устроить такую же академию и школу для детей бояр и духовенства; монахи радостно встретили русского воина и боярина, всею душой радуясь, что были возвращены под защиту русского царя и его войска; здесь показали ему храмы, а ректор академии пригласил его осмотреть здание внутри. В обширной трапезной сидел Алексей, окруженный монахами; ректор и архимандрит монастыря расспрашивали его о вестях, касавшихся войны; вместе с другими рассказами о Москве, только что им покинутой, он мог сообщить им, что знал о намерении царя окончательно покорить Украину, не доверяя более мирным договорам и лукавым обещаниям поляков; слова его вносили мирные надежды в их встревоженные и утомленные головы.

Разнообразные лица старцев, толпой окружавших пришедшего к ним русского боярина, представляли резкую противоположность с ясным лицом молодого Алексея, еще не ведавшего никакой печали, а их черные рясы оттеняли его цветную одежду, украшенную золотом; статные воины, ратные люди, нередко появлялись в Киеве и в стенах Братского монастыря, но не с таким мирным настроением, не с такими ободряющими речами, какие слышали они теперь о добродушии и набожности русского царя; дорога была им весть, что желал набожный царь навсегда освободить от власти католиков Киев и его святыню!

Алексей, с своей стороны, с любопытством выслушал из уст архимандрита историю учреждения Братского монастыря и академии. Краткий рассказ его открывал перед Алексеем те времена, когда сиротела православная церковь под польским владычеством.

– Тогда, – рассказывал Алексею архимандрит, – православные в Киеве учредили братства, по примеру других городов. Братства были уже во Львове, Вильне и других местностях. Главную целью их было давать религиозное воспитание, и Киевское братство основало свою школу и воспитало борцов в защиту православия; далее школа эта была обязана своим развитием митрополиту Петру Могиле, посвятившему себя служению православию и развитию школ; мы чтим память основателя нашего братства и молимся за него, – закончил набожно архимандрит, осеняя себя крестным знамением.

На следующий день, провожая выступавший из Киева, посланный вперед, сотенный отряд молодого Стародубского, монахи Братского монастыря надели на шею Алексея образок с изображением архангела Михаила, вырезанным на кипарисовой овальной доске, на тонкой серебряной цепочке немецкой работы.

Выступив из Киева, отряд Алексея повернул снова на левую сторону Днепра, направляясь к Переяславлю; невдалеке от него шел за ними другой отряд сотенного – боярина Стреш-

нева; оба отряда принадлежали к рейтарскому полку Шепелева; чем дальше продвигались ратные люди в глубь Украины, тем реже попадались им города и селения.

Вокруг наших всадников тянулись пустынные степи, покрытые белой пеленой снегов, прочно залегших волнистыми холмами от горизонта до горизонта; редко попадались кое-где, по оврагам, небольшие поселки, хутора, обсаженные густо деревьями, которые раскачивали теперь по ветру свои гибкие вершины с тонкими, обнаженными ветками; близ хуторов подымались черные стаи воронов, громко каркавших; они долго следили за всадниками, садясь у них на перепутье. Очевидно, они усвоили себе привычку питаться около ратных людей и ждали добычи с их появлением; жители поселков местами прятались, местами, менее напуганные, с радостью встречали русских.

Резкий, пронизывающий холодный ветер неся по степи; отряды рейтар шли ему навстречу, нигде не находя глазом привычных ему на севере лесов, за которыми можно было бы укрыться от непогоды; только изменившееся с проходившим днем освещение разнообразило сплошную равнину; солнце то ярко освещало ее сверху, то спускалось ниже и на открытом горизонте бросало через равнину красноватые длинные лучи; они ярко освещали каждую былинку и каждое очертание появлявшегося предмета, был ли то высохший чернобыльник или всадник, – ясно видимо было и то и другое. В свете красных лучей перед заходом солнца на дальних холмах появилась вдруг тонкая черная линия и скоро явственно разделилась на отдельные точки; черные точки все вырастали, приближаясь, и русский отряд убедился, что к ним подъезжала густая толпа всадников; командовавший своей сотней Алексей приказал зарядить пищали и держать наготове копыя; продвигавшиеся навстречу всадники засуетились, будто готовясь к атаке или обороне: то была шайка крымцев на легких татарских лошадях, выехавшая, как видно, на разведку; но убедясь, что отряд русских был многочислен и имел за собой еще другой отряд в подкрепление, татары повернули лошадей своих вправо, убегая по степи. Несколько рейтар не выдержали и бросились за ними; впереди них скакал, разгорячась, и молодой Стародубский; он уже нагонял одного отставшего крымца и в надежде взять его в плен, достать языка, нагнулся к седлу, вытягивая из-под него запасные веревки; зоркий неприятель уловил это движение и дал мгновенно выстрел по Алексею; к счастью боярина, прилегая к седлу, татарин целился невысоко; на выстрел его несколько человек рейтар ответили такими же близкими выстрелами, обратив его в бегство; но вся подоспевшая сотня рейтар уже окружила татарина, он был взят, и веревки Алексея пригодились; остальная толпа крымцев исчезла за холмами снегов.

– Поранили тебя, боярин? – спрашивал подошедший сотенный другого отряда, Стрешнев.

– Ничего, царапина, – отвечал Алексей подъехавшему боярину.

– Не след было тебе скакать вперед, – почто мой отряд позади оставил? – обидчиво заметил подоспевший боярин, не участвовавший в нападении. – А мне позади тебя быть невместимо; мой род по службе всегда занимал места выше твоего, а теперь нас сотенными равно поставили; да и ты все вперед скачешь, один раздаешь приказанья! – горячо выговаривал Алексею Стрешнев, задетый похвалами рейтар Стародубскому.

– На то начальство было, чтобы нас на места поставить, об этом прежде просил бы! – с укоризной обратился к Стрешневу Алексей.

– Посмотрим, что скажет на это Ромодановский, главный воевода! Я ему челобитную подам, – продолжал боярин Стрешнев.

– Воля твоя, боярин, а что будет, то увидим; а пока прикажи привязать крепче к коню татарина да веди его с собой, пожалуй, – говорил Алексей, еще не успокоившийся от перестрелки и вперивший в Стрешнева взгляд, чуть не метавший искры из разгоревшихся очей.

Несколько рейтар из отряда предлагали Алексею посмотреть его раненую ногу, но он не хотел терять времени и спешил ехать на ночлег, наскоро обмотав раненую ногу полотенцем.

– Ничего, царапнул только татарин, – говорил Алексей.

– То ничего, что царапнули, – то дурно, что ты один вперед скачешь, других позади оставил, кто познатнее... – снова начинал Стрешнев с недовольным, надутым лицом.

– Не время про то в походе толковать, боярин, – коротко отвечал Алексей, – не пропускать же мне неприятеля, поджидая тебя! – И он приказал своему отряду строиться и идти дальше на ночлег; пропустив вперед отряд Стрешнева, составлявший до этого арьергард, Стародубский повернул к первому большому поселку, лежавшему вправо от дороги, в лощине меж двумя холмами.

«Пускай идет себе со своею сотней в Переяславль, скорей доставит татарина, – думал Алексей, следя глазами за отрядом Стрешнева, – я позамешкаюсь, пожалуй, кружится голова...»

Отряд его подходил меж тем к поселку; на холме в стороне от улиц и изб видны были остатки строений, вероятно усадьбы польского пана, совершенно разоренной; можно было предположить, что усадьбу эту сожгли и разорили сами жители поселка, потому что их собственные избы стояли целехоньки; на длинной, просторной улице, около шинка, шумела собравшаяся толпа.

– Здоровы були, войско православное! – радушно заговорило несколько малороссов, выделяясь из толпы.

– Здорово! – отозвались рейтары, посмеиваясь их выговору.

– Посылайте своего старосту разместить нашу сотню на ночлег, – крикнул малороссам Алексей.

– И сотенный наш ранен, – сказал, выезжая, один из начальных людей.

– Того можно у нас оставить на вылечку, – отозвался голос из толпы.

– Укажите, где есть хата попросторней, да, может, на подводе придется его в Переяславль доставить, – говорил тот же рейтар. – Переяславль знаете?

– Как не знать! Мы вашему пану боярину Ромодановскому хлеб возим, сухари сушим и всякого провианта возим! – рассказывал словоохотливо высокий старик, державшийся так прямо и бодро, так лихо загнувший набекрень свою баранью шапку, что Алексей спросил его:

– Да ты сам не запорожец ли?

– Всего бывало, пан боярин, – заговорил он, обратясь к Алексею, – и запорожскому войску служили, и у ляхов панам, вместо волов, на себе плугом пахали, а теперь тут в овраге притаились, ждем: не будет ли лучше от милости русского царя!

– Господь поможет, так одолеем ваших врагов, и вас царь не оставит своею милостию, – ободрил старика Алексей, – а теперь поживей размести нам людей по хатам, покормите, мы заплатим!

– А кто же у вас ранен? – спросил старик, поглядывая на обвязанную ногу Алексея.

Алексей молча подъехал ближе к говорившему старику; хотя рана была не велика, но от скачки нога отекала и усталость одолевала Алексея; голова его отяжелела, а легкий озноб пробежал по нему при каждом более живом движении; он рад был отдохнуть теперь в хате этого старика; седой Пушкарь, как звали его в поселке, подошел к коню Алексея и поклонился, сняв шапку и переминая ее в руках; посмеиваясь, он ласково глядел в лицо Стародубского.

– Должно быть, старый вояка! – сказал он. – Может быть, еще с Вишневецким або с Богданом воевал, – говорил он, покачивая головой, все глядя на молодое лицо боярина.

– С Богданом не воевал, а с татаринцом привелось столкнуться в степи, его взяли живым, а ногу успел он мне оцарапать, – ответил Стародубский.

– Ну, давай проведу тебя под уздцы за твое лыцарство! – говорил Пушкарь. – Не побежал от татарина, ты, стало, вояка будешь, потому, кажешь, царапина, а из той царапины немало и крови вытекло! Ну, моя старуха да молодая тебе промоют ту царапину, им не в первый раз тем делом орудовать!

Разговаривая, Пушкарь вел за узду усталую лошадь Алексея; понутив голову, шла она послушно за ним вдоль улицы; им встречались толпы женщин и детей, собравшихся поглядеть на русских.

– Воины не в лаптях, таки ж чеботы на них, як и у нас, – скороговоркой сообщали друг другу женщины, прикрывая вполтину свои лица полой толстой серой свиты, сермяги, и глядя на рейтар.

– А сказали, что и нас всех в лапти они обуют, коли отымут у ляхов, – говорили другие.

– Так же врет народ, пугает! – толковал женщинам приземистый малоросс, стоявший в толпе между ними.

– Известно, паны, так и обуты! – заметил худой и длинный, с черными, как угли, глазками крестьянин с недовольным лицом. – Не то худо, что в лаптях они ходят, а то худо, что воевод своих к нам посылают.

– Болтай больше! А своих панов позабыл? – живо заговорила рядом с ним стоявшая баба. – Кто тебе шрам-то прописал через всю маковку? А и убил бы, так никому бы не ответил! А их воевода ж за каждую христианскую душу в ответе будет, – быстро отчитывала смуглая, сухощавая женщина, все мускулы которой шевелились заодно с вылетающими у нее словами.

– Вот, жинки, кланяйтесь да скажите спасибо пану болярину, чуть було не убил за вас татарина, да живьем его взял! – шутливо вскрикивал перед толпой Пушкарь.

В толпе слышались одобрения и басом и визгливыми голосами женщин. Алексей и слышал и видел все как сквозь сон, опьяненный долгим вдыханием зимнего степного воздуха и разнообразием впечатлений; к тому же он чувствовал сильную боль в ноге и тяжесть в голове; убаюканный теперь и тихой ездой, и внезапно наступившими сумерками, он вслушивался в звонкие голоса и улыбался и толпе, и своему провожатому, не говоря ни слова; все молча достиг он, наконец, избы Пушкаря.

– Приехали, слава тебе Господи! Слезай с коня да иди отдыхать, болярин, – говорил Пушкарь, отворяя еще не запертые на засов ворота своего двора. Алексей въехал во двор, в котором, казалось, было много клетей и навесов, но не видно было ничего живого, кроме высокого и лохматого пса, вышедшего навстречу хозяину и мирно пропустившего Алексея, будто чуя, что он попал в милость; Пушкарь помог Алексею сойти с коня и постучался в окно своей хаты; невысокая женская фигура отворила дверь избы, и в полумраке сеней блеснули ее глаза и высокий белый лоб.

– Посылай нам Василя, та швыдче! – крикнул Пушкарь.

Из дверей избы вынырнул сухонький малый, лет семнадцати, и ждал приказаний, робко взглядывая то на Пушкаря, то на Алексея.

– Бери панского коня, дай ему корму. Да крепко запирай ворота: татаре недалеко от поселка... – сообщил Пушкарь.

Мальчик покосился как-то в сторону при имени татар и, нагибаясь, нырнул с крыльца, убегая исполнять приказание хозяина; сквозь отворенную дверь на входящих пахнуло теплым паром, и пламя горевших в печи сучьев осветило их лица.

– Здоровы були! – проговорила, встречая их, поднывавшая со скамьи старуха. – Кого-то нам Бог посылает? – спросила она мягко; в голосе слышалось желание ласково принять гостя.

– Бачишь, що то не з Польши, а з православной стороны гости! Как тебя звать, болярин? – отнесся старик к Алексею с вопросом и поклоном.

– По имени зовусь Алексеем, а родом из бояр Стародубских, – назвал себя Алексей.

– То гарна кличка! – мягко смеясь, залепетала старая Олена, жена Пушкаря. – От старого дуба молодая ветка! Благослови ж вас, Господи Боже, щоб за правду и за веру стояли!

– Ну, швыдче, жинка, развяжите та огляньте болярину ногу: дорогой в степу татарин напал тай прострелил! – рассказал Пушкарь.

Выслушав сначала о нападении татарина, как о привычном случае, обе женщины с легким криком бросились к Алексею, услышав, что он ранен.

Пушкарь подвел его и усадил около печи на лавке, вероятно служившей кроватью для кого-нибудь из хозяев: на ней разостлан был толстый серый войлок и пестрые подушки; через минуту нога была развязана, тяжелый сапог был снят искусными, осторожными руками старой казачки Олены; молодая женщина исчезла на минуту и вернулась с большой миской теплой воды: на плече ее висели длинные ручки (полотенца), вышитые на концах узорными полосками, разноцветными нитками и шелками; молодая девушка держала миску с водой, пока старая Олена обмывала и потом перевязывала несколько припухшую ногу. Операция продолжалась довольно долго; Алексей терпеливо переносил осмотр, ничего не возражая на предложение Олены перевязать ногу чистыми полотенцами; он доверял опытности казачек, вечно окруженных битвами и привыкших к раненым. Алексей только с любопытством разглядывал лица и одежды казачек, следя за их ловкими движениями.

– Не глыбоко царапнули, – заявила Олена после долгого молчания, – скоро бы зажила, да разбередил дорогой; приложим своей примочки, да отдохнет пан дня три – и здоров буде! – заключила она веселым голосом.

– Нам завтра выступать нужно, – сказал Алексей.

– Ты, пан, сдал бы свою сотню кому из подначальных, нехай в Переяславль поспешают; а при себе оставь человек пять, я вас всех на повозках в Переяславль доставлю; и Василия возьму... – предлагал, как видно, опытный Пушкарь.

При словах его женщины тревожно переглянулись; Василий, сидевший у двери, потупился и опустил голову.

– Ко мне придут рейтары, – сказал Алексей, – трое поместятся на ночлег?

– Поместятся в кухне, через сени, – ответил Пушкарь, меж тем как женщины снова невесело переглянулись.

– Ничего не тронут у вас, не бойтесь! – успокаивал их Алексей. – Вы, верно, пуганые? – спросил он.

– Пуганы, пуганы, та и бояться перестали! – заговорила старуха веселее после утешительных слов Алексея. – Немало годов скитались мы по Украине; годов двадцать прошло с тех пор, как первого мужа убили турки и дочь в неволю увели, еще при Богдане Хмельницком!

– Та не поминай старого, що прошло! – прервал Пушкарь жалобы жены. – Уж и дочь теперь стара була б; да и первого мужа нечего поминать, коли за вторым состарилась! Вот Богдана помянуть добрым словом можно! Коли б пожил, все бы нам устроил! – говорил Пушкарь, усаживаясь на кончике лавки подле Алексея.

– Что же он устроил бы? – спросил Алексей.

– Он хотел сразу всю Украину русскому царю отдать; да царь тогда поверил ляхам, Богдан и остался як рак на мели, та по самой середине Днепра: ни к русским, ни к ляхам!

У ворот постучались рейтары и прервали разговор; Василий вышел отобрать у них коней и проводить их в хату.

– Размести их, старая, где знаешь! – приказал Пушкарь жене.

– Только одного при мне оставьте, как у нас водится, – проговорил Стародубский; вошедший солдат, поклонившись на образа, сел на лавке у самой двери; через несколько минут вошла молодая девушка с вопросом: не подать ли вечерети?

– Чи станешь, боярин, есть наш кулиш с салом? Горячий! – предлагала Олена. – А кроме и нет ничего; и за то благодарим Господу, кулиш все не палка!

– У нас часом всего много, а часом и нет ничего, и голодно! – рассказывал Пушкарь, пока молодая племянница его, Гарпина, как он звал ее, приготовляла все к ужину: – А что есть у нас, и то краденое: пшено выкрали мы из обоза проезжего, полякам везли; мы и отбили воза

два, и кони у нас остались; а другой обоз повернули да весь целиком в Переяславль отправили, к вашему войску! – закончил Пушкарь.

На столе, покрытом белым рядном, готов был ужин, и кулиш дымился в большом глиняном горшке; вокруг него стояло несколько деревянных мисок и ложек, горстка соли была тут же насыпана на большом ломте пшеничного сероватого хлеба; боярин Алексей всматривался в лицо приносившей все Гарпины.

«Сухощава да проворна», – думал он.

– Дивишься на Гарпину? – спросил вдруг Пушкарь. – У нас все так, и от чужих не прячем; а идет дивчина по улице, и руки и ноги двигаются, и монисто на ней гремит, и очи на все стороны смотрят; а не верь им ни чуточки, боярин, оберут и выдадут!.. – усмехаясь, говорил Пушкарь.

– Уже! Чего не скаже! – вступилась старуха, жена Пушкаря.

– Родного брата дочка, и на ту наскажет, – отозвалась Гарпина, вскинув вдруг кверху свои длинные ресницы.

– Братова дочка, все не своя! – заметила старая Олена.

– Я б и всех жинок черту продал за бочку горилки! – весело проговорил Пушкарь, и обе женщины не могли не рассмеяться, зная его слабость к горилке.

– Принесу, принесу и горилки, не поминай только нечистого! – затараторила Гарпина.

– Обманешь, не принесешь! – пискливо крикнул Пушкарь; и пока Гарпина по всем углам искала обещанной горилки, он вытянул большую флягу из-под полы своей свиты и поставил ее на стол с сияющим лицом.

– Вперед стащил, та ще просит! – пропищала Гарпина нараспев, к величайшему удовольствию Пушкаря и рейтара, смеявшегося его ловкой шутке.

– Шо, человеку с нами можно пить или проводить его в кухню? – спрашивал Пушкарь, пытливо глядя в глаза Алексея.

– Выпить прикажи здесь, боярин! – с поклоном обратился рейтар к Алексею. – А кормиться туда пойду.

– Прыткий, даром что русский, – проговорил Пушкарь, глядя на солдата, – тебя и Гарпина не обмане, а она самого беса спутает...

– Та ну, не поминай! – крестилась старуха.

Гарпина стояла молча среди хаты, скрестив полные руки; боярин мог хорошо рассмотреть лицо ее и щеголеватый наряд, державшийся в чистоте и красе, несмотря на все тревоги постоянной войны в их краю; и самая война помогала наживе тех, кто оказывался ловчей и хитрей других: на смуглой шее Гарпины обвились в несколько рядов кораллы и янтари; в ушах были у ней длинные подвески к серьгам, блиставшие цветными камнями; узкая полоска красной шерстяной ткани лежала на голове, придавая ей еще более круглую форму, а черные глянцевитые волосы, разделяясь ровным пробором на высоком лбу, спускались и падали тяжелыми косами через худощавые плечи казачки.

Гарпина стояла молча и неподвижно, но в колебанье рук ее и плеч видна была непрерывная волна жизни.

– Побачь, боярин, вот наши дивчата! – с хитрой усмешкой говорил Пушкарь. – Стоит она смирно, в пол вросла, а вся движется.

– Правда, – ответил Алексей, тянувший в себя горячий и невкусный ему кулиш и медленно проглатывая его.

– Наша дивчина, что тополь или осина – без ветру дрожит; с того ли, что и деды и прадеды у ней дрожали перед турками та перед ляхами, или плясать хочет, – dokonчил Пушкарь, посмеиваясь на Гарпину.

– Кликнешь й, и готова! – отозвалась на шутку его Гарпина.

– А як сбежишь, так и не найдем, – насмешливо буркнула старая Олена, стоявшая у печи.

– Без коней не сбежишь, коли б повозка та кони, то и за Днепр можно б... – проговорила Гарпина полусерьезно.

– А есть у вас кони? – спросил боярин.

– Есть, одна шкапа на четырех... – засмеялась Олена.

– К одной и другую припречь можно, – проговорила Гарпина своим музыкальным напевом, всегда слышным в ее речи.

– Ступай, спи! – как бы сердясь, крикнул Пушкарь.

Когда Алексей положил на стол свою ложку и ласково кивнул хозяину, со стола прибрали; все скоро разошлись, попрятались по углам избы; только старый Пушкарь помогал еще рейтару устроить постель для Алексея на широкой лавке у печи; он принес соломы и войлок и приветливо пожелал боярину отдохнуть спокойно; Алексей снял с себя верхнюю одежду, снял пояс, в котором хранился запас дорожных денег, и отдал на хранение рейтару; охотно вытянулся на соломе, покрытой войлоком, выправляя усталые члены и опустив на изголовье отяжелевшую голову; сон не замедлил овладеть им.

Проснувшись на другой день, молодой Стародубский попробовал приподняться, но голова его кружилась. Он чувствовал, что не сможет выступить в поход вслед за своею сотней и Стрешневым.

– Ничего, догоним! – успокаивал его старый Пушкарь. – Сегодня я обоз поджидаю: с мукой да с пшеном; повезу вашим, а вы с рейтарами проводите по степи.

– Это доброе дело! – сказал Алексей, радуясь, что день отдыха не пропадет даром и не останется без пользы для войска.

Пока он лежал, не подымая головы с подушки, старая Олена наложила ему на голову повязку с уксусом.

– Твоя старуха, видно, знахарка, – говорил Алексей, – словно мне легче от ее повязки.

– Ведьма, как все жинки, когда постареют! – проговорил Пушкарь, кивая Гарпине, рассмеявшейся тонким, мелодичным смехом.

– И ведьма в другой раз пригодится, – ворчливо заметила старуха.

День проходил своим порядком. Когда все разошлись по своим привычным делам, а рейтар вышел взглянуть на лошадей, старая Олена одна оставалась в хате с боярином. Она села у окна и, разматывая моток ярко-красной шерсти, ворчала про себя вполголоса:

– Ведьма! А коли б не тая ведьма, то и Пушкаря не було бы на свете. От турок и от ляхов спрятала его, раненого, как напали они на Киев, за то описля Пушкарь взял меня за себя замуж. Детей своих не було. Мальчика, шо зостался от первого мужа, в огонь ляхи бросили, нехай им так буде на Страшном Суде перед Господом. Як притихло все, Пушкарь взял к себе племянницу после вбитого брата, с Запорожья, а я Василя нашла, – в соломе лежал мальчик спрятанный, а чей – так и не узнали. Тольки я его годовала и годую як родного сына. А Пушкарь его невлюбил и не любе, годую свою Гарпину, и хоче увезти Василя за Днепр к казакам; а кто ж нас под старость кормить буде, коли доживем?

Старуха ворчала за кличку «ведьма», потрясшую и раздражившую ее. В досаде она выбалтывала и то, что старый Пушкарь таил глубоко в душе, прикрывая постоянно шутками и смехом. Но к счастью, больной Алексей простодушно слушал ее в полудремоте, как слушал, бывало, дома рассказы старца сказочника. Не знакомый еще со всеми сложными обстоятельствами края, он не соображал, куда стремился Пушкарь со своим Василем.

Василь был глуповатый малый с рыжими волосами, остриженными в кружок по-казацки. Широкое лицо, покрытое веснушками, полуоткрытый рот и недоумевающее выражение не придавали Василю ничего привлекательного. Алексей удивлялся старой Олене, видимо не любившей красивую Гарпину и влюбленной до слепоты в своего питомца Василя. Забалованный Василь не замедлил прокрасться в хату, ища прибежища под ее ласковым крылом. Вслед за ним снова появился Пушкарь.

– Вже около своей старой вороны прячется! – бесцеремонно сказал он, глядя на Василия и выгоняя его из хаты.

– Куда ты его гонишь? – вступилась старуха.

– Не гетманом ему быть! Нехай Гарпине поможе коней напоить, что приехали... – выронил Пушкарь последние слова.

– Нынче не знаемо, кто в гетманы попаде, – ворчала Олена. – Теперь у каждого свой гетман: у русских один, у ляхов другой, на Запорожье тоже.

– А еще за Днепром гетман... – отозвался вдруг, казалось, спавший Алексей, вспоминая вдруг рассказы киевских монахов. – А вы за каким гетманом считаетесь? – спросил он неожиданно, так что у Пушкаря задержались мускулы лица.

– Теперь пока служим вам, русским, так считаемся за русским гетманом Самойловичем, – с серьезным видом ответил Пушкарь.

– А як завтра наедет Дорошенко, так и Бог знае, за кем будем, – сердито проговорила старуха.

– А типун тебе, старая! – крикнул сердито Пушкарь. – Ходы та дай чего-нибудь поисты, и боярин с утра ничего в рот не брав!

– Ничего не надо, – проговорил боярин.

Но старуха поспешила скрыться с глаз Пушкаря, напугавшего ее своим окриком. Пушкарь вышел за нею осторожной, кошачьей поступью, и скоро по уходе его в комнату вошла Гарпина с большой миской теплого молока и ломтем пшеничного хлеба на глиняной тарелке. Гарпина ласково нагнулась над боярином и предлагала ему хлебнуть молока. Этот голос, звучащий, как бежавший на солнце ручей, вызвал улыбку Алексея; он с минуту смотрел ей в лицо, не отвечая. Она приблизила миску к его губам, он поневоле втянул в себя несколько глотков теплого молока, и приятно согретая грудь глубоко вздохнула.

– Як тяжко, – проговорила Гарпина, – тебе меж чужими! Може, и маты дома зосталась? – спрашивала она, и сиявшие глаза заволкло туманом.

– Отца оставил, – проговорил слабым голосом Алексей.

– Ба-а-тька! – нараспев протянула Гарпина. – Кто ж там тебе годував? От теперь я тоби за неньку стала, – прибавила она, ласково улыбаясь и вся встряхиваясь, как осинка на ветру; и снова приложила к губам Алексея миску с теплым молоком.

– Довольно, благодарствую, – проговорил Алексей, глубже опуская усталую голову на подушку.

Она отошла, оставила миску и хлеб на столе и села под окном; солнце ярко осветило ее повязку и черные волосы, густой румянец тепло разливался по ее щекам, она глядела на кого-то через окно и задумалась.

«Чудно... – думал Алексей, – словно мальчик смела, а ласкова как родная мать».

Долго лежал он, задумавшись, пока глаза его не сомкнулись, отяжелевшие веки опустились и он был объят крепким, глубоким сном. Его снова пробудили какие-то непонятные звуки; вслушавшись сквозь дремоту, не открывая глаз, он различил пение: то была незнакомая, но сладко убаюкивающая песня; Гарпина пела, сидя у того же окна. Алексей силился взглянуть, хотел окликнуть ее, но дремота владела всеми его членами, и под звуки песни он снова впал в сон. Уже солнце слабо светило по-вечернему, когда рейтар вошел в хату к боярину. Алексей проснулся и легко поднял голову. В избе он уже не видел никого, кроме рейтара. Алексей, освеженный долгим сном, попробовал приподняться и совершенно встал на ноги; он чувствовал сухость в горле и жажду и, приблизившись к столу, допил молоко, оставшееся в миске.

В окно, ведущее на улицу, Алексей увидел обоз, остановившийся около хаты Пушкаря; в хату доносились крики, и сам Пушкарь похаживал тут со своей люлькой в зубах. Алексей глядел на все молча, что-то соображая.

– Не наш ли обоз? Да и лучше бы скорее! Кликни Пушкаря, – приказал он. – А что, наши кони отдохнули?

– Кони оседланы, боярин, двое наших так и стояли подле них все утро. Ждали, не проснешься ли, не спросишь ли коней.

– Хорошо придумали. Жаль, что напрасно мерзли! А кормили вас сегодня? – спросил боярин.

– Как же, обедали, нечего жаловаться, кормят здесь по-христиански: каша хоть и белая – все ж не сухарь! Вот только табак их противный, это уж турецкий грех к ним пристал! – говорил рейтар.

– Позови Пушкаря да скажи, чтобы сюда со своею люлькой не приходил, – с таким же отворачиванием высказался Алексей против табака.

Пушкарь явился на зов Алексея, спрятав люльку в карман своих обширных шаровар. Он остановился на пороге, улыбаясь и приподняв высоко над головой свою обложенную бараньим мехом шапку, пристукнул каблуком длинного, выше колен доходящего сапога.

– Уже и готов, и здоров? – спрашивал он удивленно.

– Здоров и в поход тороплюсь, пора! Ты всю семью везешь в Переяславль? – спросил Алексей.

– Всю, – отвечал Пушкарь, – там буде спокойнее.

– На русских можете положиться, полковник распорядится, будьте надежны! – уверял боярин.

– Вот спасибо! А обоз видел? Все мука, та каша, та сухари пшеничные и сало! Все у ляхов отбили наши молодцы казаки, и прямо в ваше войско везем, – рассказывал Пушкарь, надвинув брови к глазам и глядя в окно, будто видел весь обоз.

Алексей суетился около окна, осматривая, велик ли обоз. Он медлил выйти наружу, все расспрашивая Пушкаря, и радовался, что поможет свезти все это к войску.

– Когда ж вам можно ехать? – спросил он Пушкаря.

– Хоть сейчас. Коли ты, болярин, готов, то и у нас все готово!

– Так собери людей и давай пояс, – приказал Алексей рейтару.

– И наших немало при обозе, – сообщал Пушкарь таинственно, нагибаясь к боярину, – человек двадцать, есть кому обоз защитить.

Через полчаса, не больше, все было готово. Василь в бараньей шубе и высокой казацкой шапке держал коня Алексея, который стоял меж тем подле саней Пушкаря, куда усаживались Олена и Гарпина. На облучок саней готовился сесть молодой казак лет тридцати, высокого роста и красивый. Он с любопытством разглядывал русского боярина и его рейтар. Глаза казака искрились таким же весельем, как и глаза Гарпины. Так показалось Алексею.

– Моих повезет родич, казак Волкуша. Кланяйся, Волкуша, русскому болярину! – говорил Пушкарь.

Казак медленно снял шапку и также медленно поклонился Алексею. Осип Волкуша был простой реестровый казак из окрестностей Киева, по словам Пушкаря; по одежде он не походил на запорожцев; но и в простой, грубой сермяге он имел вид очень воинственный. От женщин он держался поодаль, хотя Пушкарь и называл его родичем. Изредка повертывал он голову в сторону Гарпины, голова которой была так укутана в пунцовый шерстяной платок, что виднелись только одни глаза, которые искрились и глядели очень весело. Алексей стал впереди обоза с двумя рейтарами, двух еще оставил в конце обоза в виде арьергарда, и обоз двинулся. Медленно шел он по степи, так ярко освещенной солнцем, что не раз Алексей жмурился и закрывал глаза от всюду сияющих искорками снегов. Худые казацкие лошади неохотно тащили возы с тяжелой клажей, оставляя следы копыт в рыхлом снегу; почти к ночи пристали они с обозом к небольшому поселку, по дороге, указанной им Пушкарем. Весь обоз поместили под длинным навесом сарая на постоялом дворе еврея, который из осторожности выдавал за хозя-

ина этого двора одного из казаков поселка. Евреям приходилось выносить жестокие притеснения от поляков и от самих казаков в эти прошлые годы; и те и другие одинаково грабили и жгли их. С приходом русских евреи смелее начали показываться на свет Божий, но скрывали свои деньги.

Алексей вошел в просторную избу постоялого двора и спросил чего-нибудь на ужин. Хозяйство велось на польский манер, и Алексею предложили выпить сначала кофе, к которому он начал уже привыкать, проезжая по городам, бывшим недавно под властью Польши. Семья Пушкаря тоже вошла в избу; обе женщины, кланяясь, подошли к боярину и спросили о его здоровье и не нужно ли перевязать его «царапину». Они называли так его рану, подражая ему. Обе женщины выказывали большое участие; они давали ему советы и на будущее время, на случай, если его снова когда-нибудь ранит. Старуха толковала, как ему следовало запастись перевязками и нащипать тряпья (корпии), чтобы было чем тотчас же заложить ранку. Участие старой Олены могло быть и с расчетом на покровительство русского боярина; но молодая казачка Гарпина смотрела на Алексея с неподдельной добротой и даже с некоторой жалостью. Она обещала ему наготовить для него перевязок и тряпья, как только они приедут к себе на место, и отказалась принять от Алексея какое-нибудь вознаграждение.

На другой день вечером обоз подъезжал к Переяславлю; он счастливо миновал опасные места, нигде не навлек на себя подозрений местных властей. По дороге встречались иногда гонцы из русского войска, встречались посланные по делу дьяки городских воевод, но никто ни разу не спрашивал, чей это был обоз и куда он направлялся, потому что видели его под охраной русских рейтар. Не доезжая до Переяславля, почти в виду его, Пушкарь подошел к Алексею и просил его дозволить обозу отделиться от рейтар.

– До города и недалеко, да дорога тут тяжела, и скользко будет въезжать в город. Я останусь под твоей защитой, представлюсь скорее перед воеводой; а Волкуша пойдет с обозом в объезд; их, вишь, сколько народу, здесь близко от города, им не опасно. Они и заедут там, подальше в город; там дорога повернее будет.

Ни Алексей, ни рейтары не удивились такой просьбе и считали уже свои обязанности по охране законченными, так как город, где расположено было русское войско, лежал в одной версте перед ними.

Пушкарь, проводивший обоз и семью на другую окольную дорогу, сам не отставал от Алексея и ехал с ним рядом, верхом на лошади, взятой им из обоза.

– Вот як у нас города растут, – говорил он Алексею. – Переяславль недавно только сожгли весь, а он опять, как молодая трава, из земли вырос! А сколько тут было крови пролито! У нас степь и на солнце не высыхает: то поляки, то турки ее кровью казацкою поливают! – говорил Пушкарь с горькой усмешкой и задумчиво поводя головой.

– Да и казаки ваши немало помогали басурманам христианскую кровь проливать, – заметил ему Алексей, следя глазами за обозом, медленно исчезающим за поворотом около города, и различая еще сани, в которых сидела семья Пушкаря. Боярин был не в духе, он уже жалел, что отпустил обоз в сторону; лучше было бы самому довести его через город к воеводе и к войску.

– Что делать, – продолжал Пушкарь, – заварили ляхи похлебку, пришлось ее казакам хлебать! И добро наше и веру – все отнять пожелалось им, не доставайся же никому родная земля! Чем так жить за ляхами, так помирать лучше, думали казаки; ну и расходились так, что никак не уймутся! Хоть и есть другая дорога, а на ту ступить страшно, не верят!

– Сами же вы под высокую руку русского царя отдалися, так надо одного его держаться и верить! После того что поклялись и присягали, греха вы не боитесь опять изменять своей присяге! – горячо и искренно толковал Алексей и представлял все Пушкарю, как ему самому представлялось их дело.

– Так уж почти целый век дело ведется: народ обманывали, и народ привык обманывать! Пока был у нас Богдан, ему все верили. А как начали у нас по три гетмана назначать, так

не знают, кому и верить. Может, и нашелся бы человек, что всей душой пожелал бы казакам лучшей доли, да и тому побоятся верить! Старое помнят; тянет их на Запорожье, где прежде жилось на воле! – проговорил в ответ ему Пушкарь.

– И ты помнишь старое? Бывал и ты на Запорожье?

– Там и вырос! Оттуда ходил с Богданом Хмельницким на ляхов; с ним был, когда разбили мы польских панов и города забрали многие, взяли и Корсунь! Давно то было, как ходили запорожцы с Богданом на ляхов, под Збаражем, около Зборова: тут-то Богдан да вместе с крымцами избил было ляхов вконец! К самому королю подходили, да крымцы нас тогда продали; с ляхов денег много взяли, и Богдана продали! Хан крымский помешал. Ну, все же тогда много льгот казакам выговорили и много городов у ляхов отобрали!

– Куда же вы потом шли? – спрашивал Алексей.

– После того в Киеве нашего гетмана с колокольным звоном встречали, духовенство шло навстречу, сам митрополит принимал его за то, что отстоял свою веру против латинской! Тогда было русским послушать Хмеля, Богдана, тай не мириться с ляхами! За Богданом тогда вся бы Украина пошла к вам, а теперь и казачество на части расколосось. Як тий лед, шо таять начал! А прежде сплошной был! – закончил Пушкарь.

– И теперь не ушло время всем вам заодно покориться русскому царю, – толковал ему боярин.

– Поживем, так увидим, что будет; кто потопае, той и за бритвы хватает! – проговорил Пушкарь.

Они въехали в город и по улицам Переяславля, вновь застроенного чистыми домиками и белыми мазанками, подъезжали к главной квартире, где стоял начальник войска.

– Вот ты и дома, боярин! – обратился к нему Пушкарь. – Спасибо, что проводил нас, небогих! – проговорил он с обычной своей усмешкой и снимая шапку с глубоким поклоном. – Ты пока пойдешь докладывать о себе начальству, а я поскачу повстречать обоз...

– Куда же ты?.. – заговорил было Алексей, но пока он опомнился, Пушкарь был уже далеко от него. Указывая протянутой вперед рукой, что он едет в сторону, направо, и весело кланяясь, он исчез на повороте тянувшейся перед ним улицы. Алексей посмотрел ему вслед, потом обернулся взглянуть на рейтар. Рейтары как бы ждали от него приказаний. После минутной нерешительности Алексей приказал:

– Слезайте с коней! Да один оставайся здесь, посматривай, не едет ли обоз! – И сам сошел с коня и направился отыскивать воеводу Ромодановского или своего начальника Шепелева.

В главной квартире он узнал, что все выехали за город, где Ромодановский смотрел пришедшие на помощь ему полки. Вернуться должны они были не ранее вечера. Алексей остался около главной квартиры, поджидая появления обоза. Но ни обоз, ни Пушкарь не появлялись более ни в этот день, ни во все последующие дни.

Когда Алексей представился полковнику Шепелеву и помянул, что он провожал сюда обоз с припасами, то Шепелев спросил его удивленно:

– Откуда Господь послал?..

– Обоз вел старый казак, что поставляет припасы на русское войско. Он просил на этот раз проводить его, зная, что татары гуляют по степи.

– Как зовут казака? – спросил, вмешиваясь в разговор, старый ротмистр, давно проживавший в Переяславле.

– Его зовут Пушкарь, – ответил Стародубский.

– Пушкарь?.. Такого казака не знаем, – проговорил ротмистр.

– Смотри, боярин, не надул ли кто тебя? Не пошел ли тот хлеб к запорожцам? – спросил Шепелев, сомнительно поглядывая на всех присутствующих.

– В избе у этого казака я два дня лежал больной, там перевязывали мне раненую ногу и ходили за мной, как за родным сыном, – смущенно рассказывал Алексей, сам начиная терять доверие к Пушкарю.

– Благодарю, что не обобрали и не убили тебя, боярин! Тут у них все так бывает: нынче вам служат, а завтра оберут вас для своих запорожцев! – смеясь, говорил ротмистр, самодовольно потряхивая русыми волосами с проседью.

– Ну, не смущайся, боярин Алексей Никитич! Может, и пришлось тебе чужим помочь, зато от татарина, что ты взял в плен, узнали мы хорошие вести. Ты в недолгое время, боярин, успел и под пулю попасть, и языка достать, из тебя воин будет настоящий! – утешал Шепелев смутившегося Алексея.

– А боярин Стрешнев не вчинял против меня дела? – решился спросить Алексей.

– Сотенный? Ну, я потолковал с ним, чтоб он таких дел в полку не заводил и местами не считался. И в мирное время некогда этот вздор разбирать, да и в разрядных книгах искать, чей род и сколько мест занимал служебных и кому следует быть по службе выше, а теперь нам и совсем не о том надо думать. Ступай отдыхать, боярин, считай дело оконченным; я челобитной его не принял. И бесчестья тут нету. Если придется тебе в походах и впереди быть, и выше старшего в роде занять место, – так тут не Москва и то не на царском пиру! Лишь бы везде поспевать вовремя. Да и род твой был всегда повыше других, считая по служебным местам, – докончил Шепелев, отпуская Стародубского⁷.

Алексей весело поклонился начальнику и пошел искать квартиры, на которых разместили его рейтар.

Прошло много времени, но ничего не было слышно об исчезнувшем обозе. Пушкарь пропал также бесследно со своей семьей. Среди нового дела, новых забот по службе и предстоящих опасностей Алексей не мог забыть этого обмана. Теперь ему казалось, что обе женщины ухаживали за ним недаром, а старались обойти и заговорить его. Гарпина даже укачивала, убаюкивала его своими песнями, чтобы не допустить его осмотреть обоз. И что за молоко давала она ему, так клонившее его в сон? Говорят, они поят так малых детей молоком из маку, чтоб усыпить их... Даже краска пробивалась на щеках Алексея и жгла их внезапным румянцем, когда он вспоминал о своем излишнем доверии.

К тому же бывшие при нем рейтары выбалтывали его приключение, и в полку молодые бояре посмеивались над ним, поминая ласковых казачек.

– Не назвал бы его Шепелев молодцом, когда бы ведал о том! – говорили они.

Однако скоро все было позабыто перед новыми событиями войны. Взятый Алексеем татарин заявил, что толпа их выслана была запорожцами высмотреть, велико ли войско, шедшее на помощь русским. Он сообщил еще, что на правом берегу Днепра начинались раздоры и несколько казацких полков желали перейти к русским по наущению гетмана Ханенко.

– Бот какие вести! Только можно ли доверять этим казакам? – толковали русские воеводы, полковники и сотенные, собравшиеся на совещание перед квартирой Ромодановского.

– Что за гетман Ханенко? Где он? – спросил Алексей, еще не знакомый с местными делами.

– Ханенко недавно был на стороне поляков, а теперь напрашивается к нам, – объяснил ему Шепелев. – Гетманом его выбрали полки казацкие, отшатнувшиеся от Дорошенко, а поляки взяли его под свое покровительство.

– Дорошенко ведь тоже не раз уже просил принять его в русское подданство? – заметил один из сотенных.

⁷ Старшинство рода считалось на службе по количеству и значению занимаемых мест в прошлом и по положению и по старшинству в семействе какого-либо лица.

– Он слишком много захотел! – сердито отозвался Шепелев. – То обозлился за наше перемирие с Польшей и бросился звать на помощь турецкого султана, а теперь, как видит, что уже немного полков на его стороне остается, так и он тянется к русским. Только отдается с таким договором: чтобы быть ему одному гетманом всей Украины да чтобы не было и русских воевод в их городах! Что ж это за подданство будет? – спрашивал Шепелев, сердито всех озирая.

– Про то мы ничего не знаем, про то ведает Бог да великий государь! – ответил один из старых бояр.

– Та же вольница будет! – заговорили другие воеводы и бояре, присутствовавшие на совещанье.

– Прежде резали польских панов, не хотели быть холопами, теперь не хотят русского управления, не хочется им податей платить! – продолжал горячиться Шепелев.

– Посмотрим, что скажет их Ханенко, – прервал его воевода Ромодановский, – говорят, он скоро явится для переговоров.

– Да что еще скажут нам из Москвы; воля государева – воля Божья! – отозвались бояре.

Алексей внимательно слушал это совещанье бояр, когда один из подошедших рейтар слегка дотронулся до рукава его ферязи и мигнул на ворота широкого двора.

– Что там? – тихо спросил его Алексей. – Неужели? – мелькнула в уме его мысль о Пушкаре.

Медленно отделился он от толпы совещавшихся и повернул налево к воротам. Он увидел, что тут, прижавшись к толстому столбу, на котором держался навес над воротами, почти спрятавшись за этот столб, ждал его какой-то небольшого роста человек в серой свите и измятой шапке.

Он робко протягивал Алексею какой-то узелок. Вглядевшись в него, Алексей узнал Василя и вместе с поданным узлом схватил и его протянутую руку, желая задержать его. «Выдать?.. Жаль, – быстро пробежало в голове Алексея, – промучают, допытываясь об обозе».

– Я не отпущу тебя! – погрозил он, однако, Василю. – А где Пушкарь?

– Все с обозом в Чигирин уехали. Меня прогнал Пушкарь: иди, каже, к русским. А Олена та Гарпина узел тоби прислали, то тряпье и перевязки.

Снова доброе чувство шевельнулось в Алексее, но недоверие мешало уже этому чувству. Он раздумывал: «Выдать ли Василя? Наказать ли или накормить его, как кормили самого боярина в семье Пушкаря?»

– Возьми меня к себе, пан боярин! – просил Василь. – Я тебе верно служить буду, и коня кормить и чистить, и куда пошлешь – сбегая!

Несколько минут слушал его Алексей в раздумье. На что ему Василь? Разве чтобы расспросить его об обозе или о семье Пушкаря.

– Отведи его ко мне на квартиру, – приказал он вдруг рейтару, – и запри там, не то уйдет! «Все они, говорят, обманщики, – думал он про себя. – А хорошо бы разведать от него все и передать боярину Ромодановскому. Правда ли, что Пушкарь в Чигирине?» – размышлял Алексей.

Глава V

Пушкарь находился в это время в Чигирине, – Василь не обманул Алексея. Вся семья Пушкаря переселилась в Чигирин под покровительство Дорошенко. Обоз, ехавший под защитой Алексея, не был с припасами хлеба и муки; в нем везли разнообразные пожитки, имущество многих семейств украинских хлопов; они бежали от польских панов и желали теперь причислиться к войску Дорошенко и «казаковать». В Чигирине были теперь те смуглые, черноглазые молодцы, которых Алексей видел при обозе вместе с Волкушей, сидевшим на облучке саней при семье Пушкаря. В Чигирине все они были приняты и записаны в казацкое войско, весьма нуждавшееся в прибавке людей. Из Сечи гетман Серко также рассылал гонцов по Украине сманивать мирных реестровых казаков и польских хлопов в запорожское войско. Все молодцы, прокравшиеся с обозом мимо Переяслава, были теперь на конях, наряженные в казацкие жупаны и широкие желтые шаровары, в меховые казакины и высокие казацкие шапки, с копьём через плечо и с саблей у пояса, а многие и с пистолетами. У казаков недоставало иногда денег и хлеба, но не было недостатка в ценных одеждах и оружии. Платье и оружие они легко доставали от евреев-торговцев или добывали грабежом в своих набегах. Цветные ткани и шитые золотом жупаны не переводились, по-прежнему у казаков; но людей у них становилось заметно менее. После набегов турок, вызванных самим Дорошенко, население правой стороны Днепра было истреблено наполовину, а большая часть оставшихся разбежалась. Семейные люди бежали на восток и наполнили тогда еще не населенные места в степях, где находятся ныне Харьковская, Курская и Воронежская губернии, они двигались и дальше и селились между русскими. Уже немногие из них стремились в Запорожье, где и турки и крымцы разоряли их орлиные гнезда. Крепость Кондак, устроенная поляками около днепровских порогов, чтобы преградить казакам бегство на Запорожье, еще существовала. Русские воеводы поощряли теперь казаков селиться около нее, чтобы защищать остальной край от набегов крымцев и турок. Дальше, за крепостью, тянулся Днепр с его порогами. За порогами – те богатые, с заливными лугами острова, на которых зародилось и развилось когда-то запорожское казачество, жившее отдельным обществом, вполне независимое, никому не подчиненное. Война была тогда их единственным ремеслом.

Старый Пушкарь был родом из Запорожья. Он родился на одном из тех островов на Днепре, недалеко от Сечи, на которых позволялось селиться и семейным людям. Он и теперь хорошо помнил привольное житье казаков на Днепре. Помнил разезды по воде на байдарках и чайках⁸, когда приходилось переправляться через Днепр во время войны. Помнил также Пушкарь страшные битвы с польским воеводой Вишневецким, опустошавшим весь край огнем и мечом, когда он шел усмирять восставших хлопов, как звали польские паны поселян в своих поместьях.

Старый Пушкарь в молодости был в рядах запорожцев, поднявшихся с гетманом Богданом Хмельницким на помощь своим, бывшим в подданстве у ляхов. Он помнил целый ряд кровавых войн, о которых упомянул в разговорах с боярином Алексеем Стародубским. Попав в плен к полякам, Пушкарь изловчился спастись бегством и укрылся в одном поселке близ Киева, в семье молодой тогда Олены и ее первого мужа. Вместе с семьей ее он переселился в Киев; еще больной от ран, почти увечный, он мирно прожил работником в семье Олены около полугода. В эту пору Киев был разорен нашествием литовцев; при этом разгроме древнего города погиб муж Олены, а небольшого мальчика, ее сына, литовцы бросили в огонь на ее глазах; сама она бежала в поселок, где у ней была еще хата. Пушкарь переселился туда же из благодарности ли, по одиночеству ли женился на Олене, и у них снова была своя семья: он

⁸ Б а й д а р ы – суда более крупные, как барки; ч а й к и – небольшие лодки.

приютил у себя со временем Гарпину, Олена взяла приемыша Василя. Пушкарь оправился от ран, сила его окрепла, и он не раз покидал семью для новых подвигов с запорожцами; только раненый или после неудач возвращался он в семью. Он сопровождал Хмельницкого во всех его походах. И теперь, несмотря на свои лета, он пробрался в Чигирин, в старую столицу гетманов правой стороны Днепра. Его привлекала самая личность Петра Дорошенко, напоминавшая ему Богдана, ради него он пристал к Волкуше и другим украинцам, бежавшим к Дорошенке.

Чигирин часто сжигали и разоряли то поляки, то турки, но казаки упрямо возобновляли эту старую резиденцию гетманов, расположенную на высокой горе, удобную для обороны, и обводили ее стенами. Здесь гетманы жили с некоторой роскошью. В летнее время сама природа помогала им украшать свое жилище. Луга на берегу реки Тясьмина, бежавшей около города, доставляли хорошие пастбища для казацких коней; привольно было в их росших на берегу рощах из верб и темных ольх. Близость Днепра была удобна для сообщения с остальным краем и с Запорожьем.

Прибыв в Чигирин, Пушкарь явился к одному из Дорошенковых полковников, к Гулянице, и заявил, что привел им горсть казаков. Он был принят радушно старым, знакомым ему полковником. Пушкарь сам сразу вошел в казацкую жизнь; немногие из пожилых казаков еще помнили его; с этими старыми товарищами он вел бесконечные беседы о прошлом казацком житье. Между ними были и умные головы; многие из них в молодости учились в киевской школе, другие успели посмотреть на порядки и в иностранных землях; но окружавшая их масса дикого казачества не слушала их советов, не ценила их опытности. Старые опечаленные казаки часто сходились небольшими кружками и толковали о том, как бы избыть беду их, казацкую. Четверо из старых товарищей Пушкаря собрались на зов его в шинке, в так называемом Нижнем городе, застроенном на берегу реки Тясьмина. Пушкарь угощал товарищей и обо всем расспрашивал, желая узнать планы гетмана Дорошенко.

– Ну, как живете, казачество? – спрашивал он, наливая их чарки крепким медом и горилкой. – Что у вас слышно нового?

– Что нового?.. – повторил вопрос его старый полковник Гуляница, с исхудалым и умным лицом. – У нас что ни день, то новость! Глядишь, где-нибудь новый гетман проявился, а то и два разом! Бывало, и целым казацким войском с ворогами не управимся, а нынче поделились на горсточки и все воюем!

– То не беда, что мы все воюем, беда, что нас жгут и режут! А ляхов-то всех бы истребить и то мало! – с яростию произнес старик сотенный, тоже давно знавший Пушкаря.

– Не надоело еще христианскую кровь проливать? – сурово возразил сотенному Гуляница. – Уж лучше бы скорее взяли нас русские цари за себя! Та й возьмут, тем и кончится!

– Та, видно, им пока не нужно, – тихо проговорил Пушкарь, вслушавшись в их спор.

– Чужими руками им добро гоже ловити! – отозвался Гуляница. – Да чужим волом не наробишься! Придется и русским об нас подумать. И турки – и те верят, что покорят их когда-нибудь полночные цари, – они и есть: русские цари! – так раздумывал вслух Гуляница, запивая речи свои из полной чарки.

– Давно им в руки отдавались, то и даром не взяли! – говорил Пушкарь. – И задумался с тех пор Богдан, закручинился, с той кручины и помер.

– То чоловик був! – крикливо проговорил сотенный. – За ним вся Украина дружно подымалась!

– Да, тогда все покорялись, знали, что Богдан не о себе одном думал, а о всем своем племени, чтобы не досталось оно ни ляхам, ни туркам поганым! – сказал Пушкарь.

– И сладилось бы дело, если бы тогда русские не замирились с поляками, если б они полякам не поверили, – толковал Гуляница. – Наобещали ляхи, что русского царя королем себе выберут, когда помрет их король, и поверили русские.

– С тех пор не видал я Хмельницкого ни веселым, ни здоровым. Даром что он тогда в другой раз оженился, а думы его одолели! – вспомнил Пушкарь. – Та где ж теперь сынишка его, Юрий, что не в отца пошел?..

– Везде побывал! – выкрикнул сотенный. – И в монахах был, и в крепости у ляхов сидел, и у турок в полоне был...

– Знаю, – перебил Пушкарь, – да жив ли он еще?

– Та жив; взаперти сидит в Царьграде, у турок!

– Что ж вы думаете? Чего сидите тут с Дорошенкой? – кротко спрашивал Пушкарь, так кротко, будто этот вопрос и не шевелил его самого.

– Думаем о хорошем! Та не согласны по-нашему мириться русские! Мы к христианам, а они нас к басурманам толкают, к туркам, – сердито выкрикивал сотенный, голос которого уже сменился какою-то хрипотой.

– Не первый раз невзгода! – проговорил Пушкарь. – Чего же вы просите на раде? – допытывался он.

– Просим, чтобы гетман был один у всех, и на правой и на левой стороне Днепра! Та чтобы воевод русских по нашим городам не було. И податей тяжких чтобы не було! – выкрикивал сотенный.

– Так бояре русские не принимают под цареву руку на таком договоре, – закончил речь сотенного казак помоложе других, до сих пор сидевший молча, занятый своей чаркой.

– А не примут, так Дорошенко опять к басурманам зовет нас! – добавил сотенный.

– И тут не найдем добра! – произнес Пушкарь все так же громко, желая все выведать, не затевая спора.

– Митрополит наш, Иосиф, болен лежит, помирае! С смертного одра каждый день Дорошенко увещевает покориться русскому царю, – сообщил Гуляница с задумчивым видом.

– Что ж нам Иосиф? Теперь что гетманов, что митрополитов – все по двое та по трое! В Чернигове своего митрополита поставили, а у нас свой буде! – говорил сотенный, грустно усмехаясь быстрым переменам.

– И нам своего бы нужно, так берет его у нас Господь! – с чувством проговорил Гуляница.

– На том свете ему лучше будет, нежели за турками! – спокойно сказал Пушкарь.

– Я вам вот что скажу: Ханенко задумал переходить к русским и переговаривает нескольких полковников переходить вместе с полками... И полковники согласны... – сообщил Гуляница и ждал, что скажут его товарищи.

– Пускай их идут, – отозвался Пушкарь, – я же сюда умирать пришел подле Дорошенко! Попробую повидать его; пока меня не допускают!

– А на раде надо просить, чтобы всю Украину отдать под власть царю русскому. Довольно пролили крови христианской, пора положить конец! – торжественно проговорил Гуляница.

Беседа старых казаков длилась до полуночи при помощи развлекавших их чарок. Как старые, бывалые люди, они вспоминали и хвалили прошлое и корили настоящее, многое и справедливо. Не таясь, высказывали они всю накопившую у них злобу к притеснителям-ляхам и к новым, чуждым им, порядкам русских. Не меньше злобы накопилось у них и против своих казаков и запорожцев.

– Народ не тот, что был прежде! – озлобленно утверждал сотенный. – Встанут – будто и заодно все, а чуть где опасно покажется, сейчас бросятся в разные стороны: кто на Запорожье бежит, кто к ляхам!.. Друг друга чернят и продают. Не стало равенства между собою, а сверху начали ждать милости и знатности!

– Не тот уже народ! Пропадает наше казачество вольное, запорожское! – проговорил полковник Гуляница, допивая чуть не сотую чарку и обтирая рукавом своего казакина набежавшие на глаза слезы.

Поздно вечером, выйдя от шинкаря, казаки пробирались к своим домам, прислушиваясь, нет ли тревоги в городе. Но слышался только обычный гул казацких бесед по улицам Нижнего города да пискливые голоса женщин и детей. Был тихий вечер во второй половине марта; влажный, ночной воздух был свеж, но мягок.

При свете месяца сквозь матовые облака далеко в окрестности города виднелись полуостаявшие снега. На видневшейся в прозрачном ночном сумраке реке выступила вода, и лед готов был проломиться. Издали доносились выстрелы сторожевых отрядов, а вблизи, на горе, высились стены и здания Верхнего города, над которым пронеслось столько бурь войны. В вышине мерцали кресты церквей и белел, освещенный месяцем, дом умирающего митрополита Иосифа; далее виден был дом последнего украинского героя, гетмана Дорошенко, еще державшего в сильных руках своих все оставшееся казачество и проводившего годы в бесплодных порываньях спасти старый порядок жизни! Вдали, вокруг города, тускло освещались те широко раскинувшиеся степи, которые служили кровавыми полями битв в течение целого столетия.

Расставшись со старыми друзьями, Гуляницей и сотенным, Пушкарь прошел почти вдоль всего Нижнего города, прежде чем достиг небольшой хаты-мазанки, в которой он помещался с Волкушей и своей семьей. Несмотря на свое недавнее появление в Чигирине, Волкуша успел повенчаться с Гарпиной. Свадьба их была давно назначена, но Волкуша долго пропадал на Запорожье, не решался бросить свое старое пепелище и переселиться в Чигирин к Дорошенко. Гарпина до сих пор редко виделась с своим нареченным, с которым вместе вырастали они на Запорожье, откуда Волкуша и привез ее когда-то к дяде. Это было после одного набега крымцев и турок, перерезавших почти все население на днепровских островах. Гарпина спаслась вплавь вместе с другими казачками и долго скиталась по берегам Днепра, укрываясь в высоких камышах. Многие женщины добровольно бросались в воду и тонули во время этого варварского нашествия, другие бросались на бочки с порохом, зажигали их и взлетали на воздух, говоря перед тем: «После милого не хотим доставаться туркам!»

Когда турки были, наконец, отбиты от Запорожья, оставшиеся в живых женщины мало-помалу вернулись в свои жилища. Но хата семьи Гарпины была сожжена, а отец ее, преследовавший турок далеко по степи, не вернулся домой.

– В степи Пушкарь остался зарубленный! – сообщили вернувшиеся запорожцы.

Волкуша вызвался проводить Гарпину к другому Пушкарю, ее дяде. Несмотря на суровые казацкие привычки, Волкуша не мог видеть эту одиноко оставшуюся девушку, выставшую на его глазах в довольстве и в своей семье.

– Гарпина *наша* одна осталась, як былинка! – говорил Волкуша другим казачкам. – Примите ее пока к себе, я как управлюсь с делами своими, то отвезу ее к дяде Пушкарю в Киев.

Поговорив с казацкими старшинами и старостами, Волкуша снарядил байдаки (барки) и чайки для переселения осиротевших семейств в Черкасы и Киев. На больших ладьях, вроде барок, поплыли по Днепру обездоленные переселенцы к родичам. Гарпина была сумрачна, расставаясь с родными местами, и грустила об отце.

– Та я ж тебе за батьку буду! – пообещал ей Волкуша.

– Вот так батько! – воскликнула Гарпина удивленно, взглядываясь в его молодое лицо, и закатилась звонким смехом, несмотря на свое горе. Она была бойка и деятельна, что и помогало ей твердо переносить свою беду. А когда по временам одолевала ее *журьба*, как говорят украинцы, то она прибегала к песне, чтобы облегчить душу, как делают все малороссы. И мерно покачиваясь, она пела свои мелодичные, но грустные песни; пела, пока вся тяжесть, лежавшая на душе, сходила с нее, улетучиваясь со звуками песни.

Доля ж, моя доля,

Чим ты не такая,
Як доля людская?..—

раздавался грустный напев из дальнего угла челна, где Гарпина сидела, вся сжавшись и облокотив голову на руки.

Волкуша находился в отдельном, большом байдаке, который остался ему по разделу между переселенцами, с условием, чтобы с Гарпиной он доставил еще двух казачек и их детей. Рядом с ними плыло еще несколько челнов с семьями и их пожитками. Кроме Волкуши на байдаке его был еще старый казак; он хорошо знал пороги на Днепре и помогал управляться с байдаками. Они отправляли далеко впереди себя сторожевой челн, и если грозила опасная встреча, то все челны прятались в камышах или уходили в какой-нибудь залив за небольшие островки. Передовой челн подавал сигнал легким и мягким свистком; свист этот можно было принять за свист береговых птиц в болотцах. По Днепру предстояло им пройти мимо крепости *Кондака*, построенной ляхами, чтобы затруднить бегство крестьян и реестровых казаков в запорожское войско. Управлявшие челнами казаки были опытные и наметаны в искусстве незаметно проскользнуть мимо врага. В ночь, когда, на счастье их, густой пар стоял над тростниками по берегам реки, а на влажном небе не было месяца и неясно мелькали одни частые звезды, – передовой челн поравнялся с крепостью, бывшей тогда в руках польских. Казак на челне пел рыбацкую песню; голос его не поднял тревоги; по нем не дали выстрела; одинокий челн пропустили без особенного внимания. В крепости знали, что запорожцы сильно пострадали после недавнего набега турок и вряд ли могли затеять что-нибудь против поляков; да и лучшие силы их были теперь около Чигирина. К тому же челнок не подавал сигналов, он плыл, казалось, на рыбную ловлю. А ближе к рассвету тихий свист раздался на реке, слабый, едва слышный ответ донесся издали, и через час после того все челны переселенцев, держась берега, прошли мимо крепости, когда начинался уже свет утра и стража легко дремала, считая оконченными свои ночные дозоры. При восходе солнца переселенцы были уже вне выстрелов и выехали на середину Днепра. На челнах все проснулись, весело глядели на восход солнца в лугах, на далеко открытом горизонте. Протянувшийся впереди и за челнами Днепр синел под безоблачным небом, и мелкие струйки блистали тысячами искорок. По берегам кричали коростели и слышен был свист болотных птиц; красивые чайки высоко взлетали в воздухе, перевертывались на вышине, блистая белой грудкой, и опускались быстро вниз по прямой линии. На челнах заметно было движение: женщины, перегибаясь за борт челнов, черпали воду и умывали детей. Умывшись, они развернули свои запасы и кормили детей паляницей и вареным белым пшеном. Волкуша подсел к Гарпине и настаивал, чтоб и она съела чего-нибудь.

– Матри у тебя нема, так хоть батьку слухай! – уговаривал он, подавая ей ломоть пшеничного серого хлеба и поднося к ее сомкнутым устам ложку, полную вареного пшена. Гарпина отбивалась, смеясь и говоря, что она «не малая дитина», но потом слушала его и начинала есть.

– Слышишь, как перепела кричат? А чайка как высоко взвивается над нами? – указывал Волкуша, стараясь развеселить девушку. Она любовалась ясным утром; краса его была поразительна даже для привычного взгляда, а ей, пятнадцатилетней девочке, нравилась каждая искорка на синих волнах Днепра и каждая пташка, реющая меж легких облаков. Волкуша помогал ей во всем так усердно, что она начала относиться к нему, как будто к старшему своему брату.

В жаркий день пловцы, утомясь на солнце, выходили на берега, поросшие лесом, и отдыхали, располагаясь в тени. На таком роздыхе Волкуша, оставшийся на байдаке, раз крепко уснул. Проснувшись, когда солнце уже заходило на западной стороне Днепра и на реке свет его умерялся тенью стоявшего по берегу леса, он подумал, что пора была плыть дальше, и пошел на берег скликать переселенцев. Оглянув их всех, он спросил тревожно:

– А где же Гарпина?

– Пошла по берегу, – ответил ему казачонок с длинным кнутом в руке, старавшийся щелкнуть им о землю. Он указал в сторону, куда пошла Гарпина, жалуясь, что его не пустили с ней.

Волкуша бросился в указанную сторону, боясь, что из-за прогулки Гарпина попадет в беду, повстречает чужих людей. Она шла по лесу, собирая незатейливые цветы; но сумрак вечера и лесная тень навели на нее тоску. Спустившись с берега к Днепру, она села у корня векового дерева и, глядя на воду, затянула, по обыкновению, одну из своих привычных песен. Песни определяли ее настроение и ее взгляд на жизнь и горе. Быть может, она не помнила бы слышанные прежде напевы, если б они не подходили к ее судьбе. Пока Волкуша отыскивал ее по лесу, она на берегу реки пела свою думку:

По роси на зори
Шла дивчина в поли
Та шукала доли.
Доля ей навстричу
Квитками кидала,
Хмары разгоняла,
Солнце проясняла,
Травой по долине
Кругом расстилалась,—
А сама ж дивчине
Та й не показала!
– Ой и где ж та доля,
Где ты заборилась?
– Як к тебе бежала,
В овраг повалилась.
Ты сойди до мене,—
В зеленом оврази
Мы ляжем до пары,
Сховаємось разом!
– Люди схоменутся:
Куда ж я девалась?..
– Воны скажут: доля
Над ний насмеялась!

Направляясь на звуки песни, Волкуша нашел, наконец, Гарпину.

– Чего зажурилась! – крикнул он ей. – Годи спиваты! Ты ляхов накличешь той песней!

Гарпина взглянула на него недовольная выговором, но поднялась к нему навстречу.

– Идем, идем! – звал он ее. – Пора на челны! Та чего ж ты така хмарная? Я же тебе птицу он тую, красивую застрелю!.. – говорил он, указывая на поднявшуюся над ними чайку.

– Як то можно, – залепетала Гарпина, удерживая его поднятую винтовку, – то не лях и не турок, то птаха Божия! Нехай себе летает!

– Пожалела птаху! А мене не пожалеешь? – спрашивал Волкуша.

Гарпина взглянула на него застенчиво, но, вспомнив, как он называл себя батькою-отцом ее, рассмеялась и убежала по дороге к челнам.

Когда переселенцы пристали наконец в своих байдарках к берегу, недалеко от Черкасс, где поджидал их дядя Пушкарь, Волкуша передал ему Гарпину, говоря:

– Вот бери ее, дядя! Насилу довез!

– Что ж так? Тяжко тебе было с нею? – смеялся Пушкарь.

- С хлопцами легче возиться, тех и побить можно, а эту жалко! – говорил Волкуша.
- Чи чуешь, Гарпино? Тебе с ним венчаться, он тебя жалеть будет, – пошутил Пушкарь.
- Може, то и вправду буде колись! – весело проговорил Волкуша.
- Да ты ж батько! – лукаво напомнила ему Гарпина.
- Ну, заезжай, не забывай! – говорил на прощанье Пушкарь Волкуше.

И Волкуша не забывал посетить их поселок каждый раз, когда случалось быть недалеко от него. При встречах замечал он, что Гарпина уже не та малая дитина, которую он кормил с ложки. Она заправляла теперь всем хозяйством ворчливой тетки Олены, не полюбившей ее, считавшей ее в тягость для семьи и по какому-то странному капризу чувства привязавшейся к своему безобразному приемышу Василию. Волкуша додумался, наконец, что пора было предложить себя в женихи Гарпине; во-первых, ему казалось, что девушке дурно жилось у тетки, да, пожалуй, еще и кроме него найдется жених и ее выдадут, если он прозевает. Гарпина же давно считала его своим женихом.

Сговор их состоялся незадолго перед появлением русского войска и боярина Алексея, который, сам того не ведая, помог плану Волкуши перевезти семью Пушкаря в Чигирин, где и были повенчаны Волкуша с Гарпиной в одном из окрестных хуторов. Едва переселясь в Чигирин, Волкуша раздумывал уже: не пробраться ли ему с женой в Запорожье. В Чигирине начался разлад, который был ему не по душе. Дорошенко предлагали отдаться в подданство русского царя, он сам находил это самой разумной мерой, но он был обижен, когда русские выбрали гетманом левого берега Самойловича, к которому Дорошенко относился презрительно. И под влиянием досады Дорошенко еще раз вздумал отдать Украину под покровительство турецкого султана.

Василь, взятый боярином Алексеем, сидел взаперти в чулане, в ожидании возвращения самого боярина со двора главного воеводы. Боярин Алексей уже спешил к своей квартире, и первый вопрос его к рейтару был: не сбежал ли Василь?

– Нет, боярин, куда ему бежать, он, кажись, к нам сбежал от казаков. Пушкарь хотел толкнуть его в казацкое войско, а старая Олена послала его сюда к тебе, боярин! Меня, говорит, только кормите, так я не убегу. Бестолковый такой, – прибавил рейтар, – он готов служить и нашим и вашим!

– Приведи его, – приказал Алексей.

В ожидании Василя он развязал полученный узел, чтоб узнать, правду ли говорил Василь. Он нашел в узле длинные полосы грубого крестьянского полотна и мягкие хлопья расщипанного тряпья; все было завернуто в красный платок, почему-то показавшийся Алексею знакомым и что-то напоминавшим. Тут же была приложена банка с зеленой мазью, с запахом душистых трав, тоже напоминавшим боярину пахучий пар, стоявший в избе Пушкаря в дальнем степном овраге.

«Не обманул, – подумал Алексей о Василе, – да и она не обманула... Видно, вправду пожалела, что нет у меня матери, – припомнил боярин слова Гарпины. – Да, она пожалела его, как жалела «птаху Божию» и как жалеет молодость все молодое, красивое и обреченное на погибель судьбой».

Расспросив Василя обо всем, что можно было выведать о Чигирине, Алексей услышал подтверждение некоторых вестей и услышал кое-что и новое: во-первых, что Гарпина успела повенчаться с Волкушей и что оба жили теперь в поселке недалеко от Чигирина. Во-вторых, что Дорошенко не ладил с ляхами и хоть призывал турок, но больше желал бы отдать казачество в подданство русскому царю. А Ханенко собирался приехать в Переяславль не сегодня, так завтра, с шестью полками казаков, по уговору с их полковниками. С этими хорошими вестями Алексей поспешил тотчас же обратно на квартиру главного воеводы русского войска Ромодановского.

– Посмотрим, правда ли, – сказал воевода, – сколько раз уже Дорошенко обещал покориться и даже клялся... Они теперь как пчелы в разоренном улье, бросаются во все стороны и жалят кого попало. А казачонка своего вели запереть, пока дождемся верных вестей, – приказал воевода.

Алексей обещал запереть и крепко сторожить Василя, очень довольный, что его не отымали у него и что бестолковый мальчишка, непохожий на воинственных казаков, не натерпится от страха при воеводском допросе. Ждать пришлось недолго, на следующий день прибыли гонцы от Ханенко, и шесть полковников правобережных казацких полков прислали просить милости русского царя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.